



МЮРИЭЛ СПАРК

КЕНСИНГТОН. КАК ДАВНО ЭТО БЫЛО



МЮРИЭЛ
СПАРК

КЕНСИНГТОН,
КАК ДАВНО
ЭТО БЫЛО

РОМАН

ТЕКСТ

МЮРИЭЛ СПАРК

«Кенсингтон, как давно это было» — роман Мюриэл Спарк (1918—2006), классика английской литературы XX века. Немолодая женщина постоянно возвращается мыслями в далекий 1954 год, к своей наполненной драматическими событиями жизни: работе в издательстве, доведенном безумным владельцем до краха, борьбе с бездарными авторами, разгадке тайн анонимных писем и самоубийства бедной польской иммигрантки и, конечно же, борьбе с собственной полнотой (рецепт прост — можно есть и пить все как всегда, только половину каждого блюда оставлять на тарелке).



9 785751 615420



*Неизвестные страницы
мировой классики*

СЕРИЯ
КВАДРАТ

56

Muriel Spark

A FAR CRY FROM
KENSINGTON

Мюриэл Спарк

КЕНСИНГТОН,
КАК ДАВНО
ЭТО БЫЛО

РОМАН

Перевод Елены Суриц

МОСКВА «ТЕКСТ» 2019

УДК 821.111
ББК 84 (4Вел)
С 71

ISBN 978-5-7516-1542-0

A FAR CRY FROM KENSINGTON

© Copyright Administration Ltd, 1988

© Е. Суриц, перевод, 2019

© ИД «Текст», издание на русском языке, 2019

День гудел и звенел так надсадно, что уж ночью, бывало, лежу без сна, слушаю тишину. И потом засыпаю, довольная, до краев налитая беззвучием, вдоволь насладившись опытом темноты, немоты, мыслей, памяти, сладких предчувствий. Наслушавшись тишины. И обзавелась я этой милой привычкой — смаковать бессонницу — тогда, тогда, в начале пятидесятих. А чем она вам плоха, бессонница... Лежи себе ночью без сна и думай, и твоя бессонница заполнится тем, о чем ты решишь думать. Но разве можно решить, о чем думать? А как же! Хочешь — упорно целься мыслью в одну точку. А хочешь — сиди себе мирно перед погасшим экраном, тупо пялясь в пустоту, и рано или поздно создашь собственную программу, уж поприличней массового продукта. Забавно, кстати, рекомендую попробовать. И поме-

щай на этот экран кого захочешь, поодиночке, гурьбой, и пусть говорят, пусть делают все, что тебе заблагорассудится, и ты собственной персоной предстанешь в центре картинки, если угодно.

Вот и лежу, бывало, ночью без сна, гляжу в темноту, слушаю немоту, гадаю о будущем, подбираю оброненные обрывки прошлого, упущенные за недосугом, те, отринутые события, — и они выступают на первый план, одолев даль и давность, большие, важные, и груз судьбы уже не пригнетает текучку дневных дел. (Кто хоть день проживет без текучки дел? Ну? Так зачем на них тратить ночи?)

Да уж, и частенько ночью у моего изголовья дежурят ранние пятидесятые и тот, давний Кенсингтон. Но до сих пор, стоит мне вернуться в Лондон, расплатиться с такси, поздороваться с встречающими, позвонить знакомым, открыть почту, — и ночью снова обстанет меня моя бессонница, и вспомнится мне Кенсингтон, прежний Кенсингтон, Олд-Бромптон-роуд, Бромптон-роуд-Оратори, как все это было давно. Мои нынешние ночные мысли часто вьются вокруг прежних мыслей, как давняя дневная жизнь влияет на то, что делаю теперь.

Был тысяча девятьсот пятьдесят четвертый год. Я жила в мебелирашках в высоком

доме по Саут-Кенсингтону. Как-то, несколько лет назад, я, помню, вздрогнула, услышав от одного знакомого «меблирашки у метро “Саут-Кенсингтон”, где ты жила». Тотто взвилась бы Милли, хозяйка, посмей кто при ней назвать ее дом — меблирашками, хоть, боюсь, по справедливости иначе его и не назовешь.

Милли тогда была шестидесятилетней вдовой. Теперь ей хорошо за девяносто, но — Милли есть Милли.

Дом, связанный общей стеной с соседним, отстоял от него независимой частью не больше чем на три шага. По обеим сторонам улицы было по восемнадцать домов, совершенно неотличимых. Чугунные литые ворота открывались на коротенькую тропу с гравийной проплешиной посередине и цветочными бордюрами по краям, и тропа эта под конвоем крапчатых вязов бежала к двустворчатому парадному с витражами. У каждого жильца Милли Сандерс был свой ключ от двери парадного, и вела она в небольшую прихожую. Милли сама занимала нижний этаж. Направо, как войдешь, была вешалка с зеркалом, крючки для пальто, стойка для зонтов, и тут же примостился на полочке телефон. Налево была парадная комната Милли, с эркером, — исключительно для

посетителей. Лестница посередине взбегала к площадкам жильцов, а налево от нее коридорчик аппендиксом вел к комнатам Милли — гостиная, кухня, спальня, а к ней примыкала теплица, — и в тылу дома был сад, для лондонского дома большой, вполне даже приличный. Строились эти улицы давненько, еще для купеческих семейств, в девятнадцатом веке.

Выше, на втором этаже, была ванная, и две комнаты сдавались двум одиночкам, одна — семейной паре. Эта была побольше, в ней тоже был эркер и смежная кухня. Пара была бездетная, обоим под сорок: Бэзил Карлин и Ева, жена. Ева работала неполный день воспитательницей в детском саду, Бэзил, по собственному определению, был «инженерно-технический персонал». Исключительно тихие люди. Как запрутся у себя, так от них и не слышно ни звука, даже за полночь, когда все естественные шумы дня затихнут до нового утра.

Рядом с Карлиными была большая комната с окнами в сад. Там были умывальник и газовая горелка, и при ней темный газовый счетчик с прорезями для пенсов и шиллингов. В этой комнате жила и работала Ванда, полька-портниха, у которой стремление пострадать граничило с ненасытностью.

У Ванды Подолак было щедрое сердце, но во всей своей прожитой жизни она не признавала ни единой минуты счастья. К ней без конца таскались, среди прочего народа, клиентки — «мои дамы», она называла их, под шумок разговора прилаживая на них платья (обвод талии, обвод бюста), и друзья-поляки, причем кое-каких друзей она зачисляла в ряды врагов. Большинство гостей заявлялось после своего рабочего дня, с шести часов вечера и позже, и клиентки пропускались вне очереди, а уж друзьям (и врагам) приходилось томиться на лестнице, пока не завершится обряд примерки. Потчуж гостей чаем, Ванда не оставляла шитья, и жужжанье швейной машинки оттеняло сдобное пришепетывание поляков-мужчин, подмешивалось к шелесту женских согласных, к звяканью чашек о блюдца. И тому, кто шел мимо Вандиной двери, польская речь от этого казалась уж очень зазывной, загадочной.

Комнатушку в дальнем углу второго этажа занимала Кэйт Паркер, двадцатипятилетняя окружная сестра милосердия, маленькая, пухлая, смуглая, она посверкивала по сторонам агатовым, птичьим взглядом и белоснежной улыбкой. Кэйт была кокни. Она прямо-таки лучилась решимостью да и была, конечно, не робкого десятка. Вечерами

Кэйт чаще отсутствовала: шла в гости, задерживалась на работе, — но, если останется дома, со всем своим пылом бросалась на уборку жилья. К чистоте в своей комнате она предъявляла самые строгие требования, да и не только в своей; заглянув к вам на чашечку чая или, скажем, температуру померить, она замечала учтиво: «Молодцом, здесь так приятно и чистенько». Отсутствие похвалы означало, что вы развели у себя стыдобу. Бациллы, эти исчадья ада, ох, она ненавидела их всей душой. И соответственно, как выдастся свободный вечерок, Кэйт, бывало, выволакивает на площадку всю мебель и оттирает свой линолиум деттолом. Попадется под руку чужая мебель — тоже подвергнется обработке дезинфекцией, если только не принадлежит хозяйке. Милли, хоть и умела терпеть, не выносила, чтобы ее стола, стульев, кровати — хоть только касалась бы тряпка, пропитанная этой дрянью; с меня и того довольно, она поясняла, что дом пропах больницей из-за этой ее дури. Она преподнесла Кэйт немного воска с духом лаванды для протиранья мебели. И теперь не только по грохоту мебели, выволакиваемой на площадку, но и по сложносмешанной вони лаванды с карболкой вы мигом обнаруживали, что Кэйт сегодня вечером дома. Кэйт клялась,

что, когда поднакопит деньжат и заживет в своем собственном доме, она все обставит белым крашеным деревом, и чтобы все было «моющее». Что же касается накоплений, тут она была исключительно скрупулезна, чем и гордилась. Накопления отправлялись на почту. А на полке у нее по разным коробочкам распределялись деньги на текущие расходы. И на всех надписи: «электричество», «газ», «транспорт», «обеда», «телефон» и «прочее». Прежде чем улечься в постель после возни и уборки, Кэйт с величайшим тщанием, бывало, отманикюрит ногти. Аккуратнейшим образом развесит одежду на завтра. Иногда перед сном хлопнет стаканчик хереса или виски, предварительно вздохнув так торжественно, так тяжело, что всякому ясно: и не хочется, да надо рюмочку пропустить, не то мало ли что может случиться.

А этажом выше, в чердачной комнате со скошенным потолком жила я. Здесь были изначально установлены плита и раковина, потом уже в уголку притулился душ, и у самой застрехи был низкий, глубокий чулан.

На этом этаже был общий сортир и жили еще двое: юная Изобел, у которой прямо в комнате был свой собственный телефон, благодаря чему она каждый вечер звонила в Сассекс, папочке, и только на этом усло-

вии была отпущена в Лондон, на секретарскую должность. Случалось, что Изобел на весь вечер повиснет на телефоне, разговаривая не только с папочкой, но с обширным кругом друзей, и голос ее журчал и переливался сквозь стены, заодно и нас посвящая в подробности за день пережитых ею передряг.

Другая чердачная комната, еще меньше, выходила во двор. И жил там студент-медик Уильям Тодд, выдававший свое присутствие исключительно посредством радио, обыкновенно настроенного на классическую музыку по третьей программе. Под музыку, он объяснял, ему сподручнее заниматься.

Случалось, ко мне приходили гости, выдавая мое присутствие. В прочие же вечера, пусть и торчала дома, я вела себя тихо, какмышь. Собственно, когда торчала дома, я все больше спускалась вниз, поболтать с Милли. Правда, у Милли внизу почти всегда стоял грохот, стук, скрежет, из-за мелких починок и ремонтных работ по дому, производимых мистером Туинни, жившим неподалеку. Мистер Туинни приходил к нам стучать, скрежетать, грохотать после собственного рабочего дня — потому, объясняла Милли, что на разных поденщиков денег не напасешься. Мистер Туинни обклеивал стены обоями,

предварительно распростирая их навзничь на верстаке, Милли готовила смесь из муки с водой, приносила мистеру Туинни клейкую массу, и тот ее шлепал на испод обоев. А случалось, он прочищал засор, Миллин телевизор вторил звяканью инструментов, а я сидела себе и смотрела, и прихлебывала чаек.

Как и все в доме, как и все у меня на работе, Милли никогда меня не называла по имени. Я была молодая, всего двадцать восемь лет, но все называли меня миссис Хокинз. В ту пору это мне представлялось таким естественным, это было так естественно для окружающих, что я и не думала с кем-нибудь по этому поводу качать права. Я была вдова павшего на войне, миссис Хокинз. Это было широко известно. Все было широко в моем облике. Я была крупная, мощная — неохватные бедра, державный бюст, веское пузо, откляченный зад; при хорошем росте я легко носила свой вес и на здоровье не жаловалась. Возможно, эта моя обширность у многих вызывала доверие. Я была с виду уютная. С фотографий тех лет поглядываю сонным глазом, лицо как полная луна плюс два объемистых подбородка. Снимки черно-белые. Будь они в цвете, то передали бы Рубенсово свечение моей плоти, моей

кожи и глаз. И я была миссис Хокинз. Только потом уже, когда решила худеть, я стала замечать, что мне как-то реже поверяют свои печали — все, и мужчины, и женщины. Кстати, скажу вам по секрету, что, если у вас нет иных забот, кроме лишнего веса, скинуть его — пара пустяков. Ешьте и пейте себе на здоровье все как всегда — только вдвое меньше. Подали вам блюдо, половину оставьте, положили себе еды, съешьте половину. Спустя некоторое время, если вы стремитесь к совершенству, переполовинивайте уже и эти вдвое убавленные порции. Относительно же силы воли, если она вас волнует, следует помнить, что никакой силы воли нет в настоящем времени, она существует только в прошедшем и будущем. В какой-то момент вы решили: сейчас я что-то сделаю, или — я воздержусь, — а в следующий, глядишь, вы уже что-то сделали или вы воздержались. (Только при нечеловеческом давлении сила воли может выбиться в настоящее время, но это уж совсем другая история.) Даю вам этот совет совершенно бесплатно; он включен в цену книги.

Как бы там ни было, а в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году я прекрасно себя чувствовала при своей толщине и все называли меня «изумительной женщиной», хоть я

отроду ничего изумительного не совершала. Вокруг были довольны моей широтой (обширностью) и для всех одинаковым снисходительно-материнским взглядом. Одна молодая особа, постарше меня, я прикинула, однажды вскочила в автобусе, уступая мне место. Я отнекивалась. Она наседала. Наконец, сообразив, что она приняла меня за беременную, я вежливо сизошла. Все меня любили. Я была миссис Хокинз.

Между одиннадцатью вечера и полночью дом постепенно стихал и наконец замирал совсем. Изредка в соседнем доме молодой уроженец Кипра, «продавец», как сам он обозначал род своей деятельности, и его жена-англичанка со своячницей решали спуститься во двор поскандальить, то есть «слегка выяснить отношения», как сами они выражались, являясь с повинной поутру. Выяснения тянулись всю ночь, зато были редки. В полночь обыкновенно в последний раз проурчит спускаемая в толчке вода.

— Это Бэзил, — скажет Милли.

И дом засыпает.

Я лежу в постели и вбираю в себя тишину. Тишина подлинная и полная, она тешит мой слух, тем более что во внутрен-

ний слух опять вползают исподтишка шумы минувшего дня. Теперь они попритихли, я уже вычленяю их смысл. Ну вот, и особенно вспоминается мне одна ночная мысль, а началась она с того, что я однажды проснулась, и обрадовалась, и почти услышала тишину, с чего и пошел мой рассказ. Служба у меня тогда была — шумная, хуже некуда, в свое время расскажу. А пока замечу только, что тишина, отозвавшаяся тогда на мое пробуждение, привела мне на память другую тишину, ту, еще из детства, из той поры, когда мы ездили в гости к родственникам в Африке. Мы ехали на автомобиле от Булавайо до водопадов Виктории. Природа еще не очнулась от зноя. В одном месте, на подступах к буйным лесам вдоль Замбези, тишина вдруг, разом, взбухла, оглушила, и тогда-то я поняла, что прежняя тишина только прикидывалась тишиной.

Милли познакомилась с мужем, Сандерсом, в начале двадцатого века, в своем родном Корке, когда там стоял гарнизон, в котором тот служил. Мать Милли, вдова, держала лавочку, где торговала всякой нехитрой всячиной и где стояли два стола и на мраморные столешницы подавались имбирное пиво и лимонад. Джон Сандерс, юный сер-

жант, частенько забредал в эту лавочку — за сигаретами, то да сё и так, поболтать. Как-то он пригласил Милли на танцы. Милли за прилавком глянула на мать, та кивнула. Кивок означал: «Да, можешь пойти», — объяснила мне Милли.

Рассказывала Милли чудесно. Было дело, я ей об этом сказала; она на меня уставилась так потрясенно, будто не совсем уверенная, не подтруниваю ли я над ней, не намекаю ли на то, что ее истории — выдумка; и уж больше я никогда не отвешивала комплиментов ее повествовательному искусству. Просто слушала и про себя отмечала, как ловко она оживляет сцену ненароком, к месту подброшенной деталью, и она нанизывала слова с рассчитанной четкостью, присущей многим ирландцам. Но бахвальства ирландского в ней и помину не было. И она никогда не преувеличивала. Я могла слушать Милли часами.

Когда я познакомилась с ней, она была очень миловидная женщина чуть за шестьдесят, и над тонкими чертами поблескивали лепные, серебристые пряди. Наверно, в свое время Милли была настоящей красоткой, но теперь, если кто-то хвалил ее внешность, она ужасно конфузилась.

Спальня у Милли не отапливалась, и перед сном она раздевалась в теплой гостиной, перегородкой отделенной от кухни, предварительно выключив телевизор; ни за какие коврижки не стала бы она оголяться перед киноартистом, перед ведущим, тем более перед проповедником, произносящим несколько напутственных слов на сон грядущий.

И ни за что на свете не стала бы Милли у людей на глазах прогуливаться с мужчиной. Остановиться посреди улицы, поболтать с соседом — это пожалуйста, можно и проводить знакомого от подъезда к машине, и — подумаешь! — даже помахать ему вслед. Но таскаться с мужиком туда-сюда, на другую сторону переходить — это уж нет. Она десять лет вдовела. И следовала, думаю, каким-то твердым, усвоенным смолоду правилам.

Как-то раз, по ходу разговора, я поняла, что трижды рожавшая Милли твердо убеждена, что невозможно зачать ребенка, предварительно не испытав оргазма — «этого самого», как она выражалась. Я не стала спорить. Я не стала даже делать никаких выводов насчет брака Милли или выспрашивать, не считает ли она, что следствием оргазма, наоборот, непременно бывает ребенок. И вообще я спорить не люблю.



Моя служба помещалась в переоборудованном доме времен королевы Анны, ныне снесенном, чтобы уступить место нудно-стандартному строению по правой стороне Сент-Джеймс-стрит. Это было издательство Оллсуотера и Йорка, больше известное как издательство Оллсуотера, одно из тех мелких издательств, которые, кое-как одолев тяготы военного времени — дефицит бумаги, нехватку типографий, отсутствие транспорта для доставки из типографий и распространения книг, — еще влачили свои дни, потому что публика жаждала книг, а особенно книг серьезных, которые у нас издавались. Тогда, как и теперь, любая работа в издательстве считалась «престижной» и как раз потому-то низко оплачивалась. Итак, во втором этаже был общий офис, где собирались все многослойные шумы дня. В этом офисе, который, вероятно, пришел на смену двум смежным гостиным, помещались собственно издательский отдел — в одном конце, и отдел сортировки, упаковки и рассылки — в другом. А посредине стояли три стола и шкафчики в ряд и происходили сверка и перепечатка; для этой деятельности были наняты две девицы, и к ним порой присо-

единялась Кэти, бухгалтер, спускавшаяся с ворохом счетов из кабинета главного бухгалтера, когда тому требовалось побыть в одиночестве или переговорить с посетителем без посторонних глаз.

В те месяцы, последние месяцы фирмы «Оллсуотер и Йорк» перед тем как ей лопнуть, главному бухгалтеру часто хотелось избавиться от Кэти. Когда он отсылал ее к нам, мы гадали, кто на сей раз этот посетитель. Кто-то грозный. Кэти, служившая фирме куда дольше нашего, молчала как рыба. «Не судебный пристав, нет? А пора бы?» Кэти молчала. Лет ей можно было дать и семьдесят и пятьдесят — над морщинистым красноватым лицом дымились волосы, с проплешинами, возможно, от частой окраски, и линзы в очках такие толстенные, каких я не видывала ни до, ни после. Потупит, бывало, над своими счетами голову в редких клоках волос, рыжевато-сизых у корня, черных на кончиках, и что-то бормочет, бормочет, пока мы не принесем ей чашечку чая с печеньем на блюде, и тут уж она осияет нас, бывало, такой нежной, такой благодарной улыбкой, какой наш легкий знак внимания ничуть не заслужил. Когда же, силясь перекричать вечный гам, Кэти наконец открывала рот, оттуда с хрипом вырывались ломаные, уродские

фразы. В тридцатых она угодила в немецкий концлагерь и чудом уцелела.

Название издательства «Оллсуотер и Йорк» никакого отношения к географии не имеет. Были мистер Оллсуотер и мистер Йорк, партнеры. Еще двое членов правления и аукционеров присоединились к ним позже. Мистер Оллсуотер, старший партнер, сейчас, был, можно сказать, в отставке. Дни свои он проводил на лоне природы, а раз в месяц являлся на заседание правления. Котелок, твидовый костюм, зимой — серое пальто. Отпустив такси, высокий, в сединах, широколицый, любезный, он томно всходил по ступеням. Зато уходил мистер Оллсуотер всегда второпях и поскорей-поскорей шмыгал за угол, где располагался его клуб. Мартин Йорк был круглолицый, ладный господин лет сорока.

Жалованья за последнюю неделю я из них так и не выбила. Они мне остались должны семь фунтов — и это при ценах тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. Дикая шум в офисе, не исключено, объяснялся нашим подспудным желанием отогнать бесов методом первобытных племен. Но от бесов спасенья не было, Мартину Йорку пришлось-таки сесть в тюрьму за поддельные подписи и прочие неоднократные махина-

ции, а мы, рядовые сотрудники, хоть и знали, что фирма обречена, не предвидели, что она рухнет так резко, так скоро. Подумывали, что вот, придется искать другую работу. А пока суд да дело, исполняли свои обязанности.

Машинистка-стенографистка, дылда по имени Айви, только-только кончила колледж по изготовлению секретарш. Шестнадцатилетняя Мэри, едва расставшись со школьной партией, возилась теперь с картошкой. На сортировку и упаковку был брошен юный Патрик, ну а я, миссис Хокинз, мастер на все руки, и гранки читала, и книги подбирала, и секретарш подменяла, когда те выходили замуж, а издательство уже не подыскивало замены.

2

Кипрский муж и англичанка-жена из соседнего дома затеяли склоку. В два часа ночи. Начали во дворе и отправились в дом продолжать.

Ну а первый марш лестницы Милли вел на небольшую площадку с окном, в которое вы могли беспрепятственно заглянуть через такое же точно окно, но уже на сосед-

ней площадке, рядом. Сидишь себе на втором марше лестницы и видишь точно такую же площадку соседнего дома.

Я было улеглась, но шум на сей раз поднял меня с постели и погнал вниз, где тоже встала и успела натянуть халат Милли. В соседнем доме истошно вопила жена. Что делать? Вызвать полицию? Мы сидели на лестнице и смотрели в окно. У себя мы свет погасили, у них он горел. Пока, правда, кроме голых ступеней, мы ничего не видели. У нас все затихло, все спали либо не обращали вниманья на шум.

В соседнем доме в тот день праздновались крестины. Скандал разразился из-за того, что приятель мужа, отведя его в сторону, вдруг спросил, кто настоящий отец младенца. Думаю, спокойная уверенность киприота ничуть не поколебалась; но злость, давно копившаяся в супругах, наконец дождалась повода и выплеснулась во двор, когда гости разошлись.

Младенец, как видно, мирно спал, несмотря на столпотворение: мы слышали только стоны и взвизги жены и яростные окрики мужа — звуки снаружи.

И вдруг эти двое оказываются на ступенях, перед глазами у нас, как на сцене. Милли, догадливая, как всегда, бежит вниз, к се-

бе в спальню, и возвращается с почти не початой коробкой шоколада. Мы сидим рядышком и уплетаем шоколад — мы смотрим спектакль. Дело еще не дошло до рукоприкладства, в ход идут только предварительные угрозы. Но вот муж хватает жену за волосы, волочит ее вверх на несколько ступенек; а та колотит его кулачками и воет.

Тут уж запахло жареным, и я звоню в полицию. Через десять минут полисмен стоит у наших дверей. Он не склонен принимать близко к сердцу шум у соседей, нет, не тянет его вступать в это дело. Он присоединяется к нам, хотя так ему видны только борющиеся ноги. Он втискивается между нами и остается стоять: удобного сидячего места для него не осталось. Мои могучие стёгна распространились на всю ступень. Но соседи спускаются наконец-то по лестнице, и мы видим их в полный рост.

— Может, уймете их? — спрашивает Милли у полисмена, протягивая коробку.

Он берет шоколадку.

— Лучше не соваться между мужем и женой, — он говорит, — не рекомендуется. Благодарности не дождешься, только будешь кругом виноват.

Мы ценим весомость его доводов. Милли предлагает заварить чаек; она всегда готова заварить чаек. Но полисмен встает:

— Пойду-ка скажу им пару ласковых. Ночь на дворе. Налицо нарушение общественно-го порядка.

Мы слышим, как он звонит им с улицы; звонок долгий; сцена распадается у нас на глазах. Супруги отскакивают друг от друга, она поправляет волосы, он запихивает рубашку в штаны. И — пропадают из виду. С улицы слышится взвизг отворяемой двери, тихий вразумляющий голос полисмена. Голос жены взмывает в пустоту ночи, звонкий, просящий, винящийся, примирительный.

— Немножко поспорили, знаете.

Свет выключен. Спектакль окончен. Мы с Милли переходим на кухню, чайек заварен, и разговор принимает совсем другой оборот.

Наутро, в девять, я иду на работу, и кипрский сосед, колдующий над колесом своей машины, вдруг поднимает ко мне сияющую, смуглую физиономию:

— Доброе утречко, миссис Хокинз!

Вызнал мою фамилию — и откуда? Я-то ни о каких его данных понятия не имела. В тот период мою фамилию знали и те, о чьем существовании я не подозревала. Потом, когда похудела, часто бывало наоборот, и подтверждалась моя догадка, что толщина сама по себе внушительна, толстая осо-

ба притягательна хотя бы своим объемом, — хоть зато не пользуется успехом в романтическом смысле, увы.

— Доброе утро, — сказала я.

На работу я приходила обычно между половиной десятого и без четверти десять. Часы в большом общем офисе пошаливали, но из-за хронического недостатка наличности им не суждено было исправиться. Ну а я так считаю, что если часы у вас не точны, то и от ориентирующихся по ним людей вы не можете требовать точности. Мы тем вольней обращались со временем, чем больше хирело издательство. Правда, Патрик, наш сортировщик-упаковщик, всегда являлся тютелька в тютельку, раньше всех, и отвечал на первые телефонные звонки. Не знаю, может, мне изменяет память, но нет — оглядываясь назад и ясно вижу, как прихожу на работу, а Патрик, не в силах разрешить проблему звонящего, заглушая собственное смятение, уже орет в трубку; и так чуть не каждое утро. Звонящий в такое время обыкновенно был автор, и звонил он по поводу денег. Попозже, ближе к двенадцати, наступал час типографий и переплетчиков, и звонили опять-таки из-за денег: требовали оплаты счетов. И конечно, покуда счета не оплачены, новых

книг, понятное дело, в типографию не за-
шлашь.

Телефон:

— Перезвоните попозже, пожалуйста. Мис-
сис Хокинз сейчас нет.

Это Айви отшила кого-то.

Опять телефон.

— Издательство Оллсуотера, — говорит
Айви.

Чуть не каждое утро Мейбл, полоумная
Патрикова жена, заходила к нему на рабо-
ту. И накидывалась на меня за то, что якобы
соблазняю ее супруга.

— Мейбл! Мейбл! — Патрик, долговязый
юнец в очках, с длинными светлыми воло-
сами, скороспелой степенностью напоми-
навший викария, был чуть помоложе меня.
Он надеялся на карьеру в издательском де-
ле; обожал книги, запойно читал. Ко мне он
был и в самом деле привязан: чувствовал,
что мне всегда можно излить душу. Быва-
ло, весь обеденный перерыв — битый час —
его выслушиваю; когда сыро и холодно, мы
не шли в парк, а посылали за бутербродами
и поедали их, запивая конторским кофе. На
Мейбл он женился, я подозревала, из-за то-
го, что она забеременела. Патрик зарабаты-
вал мало, но она тоже работала, а ребенок
весь день был на попечении тещи. То ли Па-

трик был чересчур занят книгами и потому невнимателен к жене, то ли он дома одобрительно обо мне отзывался, может, и то и другое, не знаю, но Мейбл вбила себе в голову, что я у нее отбиваю мужа. Она была взвинчена до предела и, если бы мы все вместе мирно не претерпевали ее воплей, наскоков и дури, когда она забежала к нам по дороге в свою контору (что-то по части красок), была бы не в силах туда добраться. Но мы помогали ей разрядиться, и скоро она удалялась, на прощанье полоснув меня укором на мелком, остром лице.

— Миссис Хокинз, вы сами не соображаете, какой вред творите. Как видно, не соображаете, — не раз говорила она.

— Мейбл! Мейбл! — стонал супруг.

Айви, машинистка, в продолжение этой сцены шлепала обеими пятернями по клавишам. Кэти, бухгалтер, вылупив глаза за толстенными линзами, вскакивала, махала руками, скрипела:

— Миссис Хокинз наш ведущий редактор и ни в чем таком не замечена.

Патрик всегда печалился после ухода жены.

— А вы молодец, миссис Хокинз, правильно все восприняли, — мямлил он иной раз, хоть заслуга моя состояла лишь в том, что я безмолвно стояла всей своей обширной, вну-

шительной массой. А иногда он ничего не говорил, сосредоточась на книгах, которые упаковывал так умело, так ловко и споро.

Один из наших кредиторов, директор маленькой типографии, так близко к сердцу принял наши лишения, что даже нанял типа в дождевике, чтобы тот с утра до вечера скучал на лужайке под нашими окнами, плясь вверх. Стоит и плясится — для того и нанят. Чтобы, значит, нас пристыдить. А мы во время перерыва на кофе в ответ ему тоже плясимся — вниз — по трое или четверо с чашками в руках, толпимся у окон и смотрим. А тип в дождевике — такая невидаль, такая редкость в элегантной, дорогой части Лондона; на то и расчет, что он будет бросаться в глаза именно своей задрипанностью. Но в той части Саут-Кенсингтона, с той стороны, откуда я возникала каждое утро — с понедельника и по пятницу, — он был бы все-го-навсего «простой человек», чьим мнением обыкновенно козыряют политики: один из многих. Ну а здесь, в Уэст-Энде, каждый, бывало, проходя, посмотрит на него, на наши окна, опять на него.

У Милли в Саут-Кенсингтоне мы еженедельно платили за жилье, как бы ни приходилось наскребать и высчитывать, экономя на еде, на электричестве пенсы и шиллинги

тех времен; мы непрестанно выводили столбики цифр, мы складывали и вычитали, мы делили и множили; и была еще Кэйт со своими коробочками, надписанными «транспорт», «газ», «прочее». Ну а здесь, в Уэст-Энде, погоду делал высший класс, и высший класс презирал назойливых кредиторов, будто те застили ему дорого оплачиваемый вид из окон. Нам в шумной общей конторе было на все это, в общем, плевать — не наша ответственность, а издательства, мистера Олсуотера, Мартина Йорка, других акционеров и директоров, но в основном Мартина Йорка, на деле управлявшего фирмой. Это он мне таскал охапками рукописи, подобранные у личных друзей: у офицеров, с которыми воевал; у одноклассников. «Можно из этого спроворить бестселлер? Ознакомьтесь и сообщите мне свое мнение. Нам парочка бестселлеров ох как не помешала бы!» А гранки готовых к печати книг безответно томились у меня на столе, дожидаясь своей очереди. Уж как я придирчиво их вылизывала; каждое словечко выверяла, каждую фразу, абзац. И лежали, совершенно готовые, хоть сейчас в типографию. Но в типографиях и переплетных от нас воротили нос.

— Ах избавьте меня, миссис Хокинз, от этих авторов!

Авторы — те хотели знать, почему без конца отодвигается срок публикации. Телефон разрывался. Айви, налегая на свой невозможный суперсветский выговор, перекрывала шумы конторы:

— Миссис Хокинз в совещании. Что-нибудь передать? Нет, я не знаю, *когда* она будет. Нет, я не могу ее *беспокоить*, она в совещании.

Путем расспросов я установила, что говорить «в» совещании, вместо «на» совещании — хороший тон, старая традиция фирмы, заведенная Мартином Йорком. Предлог означал, что человек поглощен, растворен, что человека ни под каким соусом нельзя беспокоить. Айви наловчилась бросать это «в совещании» негодующе, как бы сразу давая понять, что даже звать к телефону человека, занятого подобным образом — форменное безобразие. Айви уловила идею издательства. Пол вокруг ее стола был завален бумагами, с тех пор как Мэри, делопроизводитель, ушла с работы, сетуя на создаваемую наскоками Мейбл «атмосферу». И замены ей уже не стали искать.

После перерыва на чай Мартин Йорк, бывало, звонит вниз по внутреннему:

— Миссис Хокинз, вы не уделите мне минуточку?

Минуточка растягивалась на час, а то и больше. Ему хотелось выговориться, кому-нибудь поплакать в жилетку. Встанет у окна, смотрит во двор в тылу дома и говорит, говорит. Или, погружаясь в кожаное кресло напротив меня, спрашивает из его глубин:

— Хересу? Виски?

Я снисходила до хереса только в тех случаях, когда Мартин Йорк меня забалтывал позже полшестого, конца рабочего дня. Вообще-то я привыкла допоздна засиживаться в конторе, теперь особенно, когда штат поредел и каждый отдувался за двоих, а то и за четверых. И в те дни, когда Мартин Йорк вызывал меня к себе, я, можно сказать, отдыхала. Если мысль его обращалась к прошлому, значит, он говорил о войне. Если к будущему — на свет выволакивалась солидная сумма, которую якобы он может занять, чтоб удержать издательство на плаву. Эти военные подвиги у него были, действительно были. Что же касается суммы, то я не забыла, как однажды он сам мне сказал: «Лишь бы достаточно широко распространился слух о том, что ты здоров и богат, миссис Хокинз, и тогда — дело в шляпе. Тем самым ты здоров и богат. Тебе доверяют. А доверие в бизнесе — всё». Круглое лицо было у него рябоватое, как после оспы. Трудно

было не поддаваться его обаянию. Это не мое только мнение, все коллеги, все его друзья так считали. И когда он вдруг заговаривал о том, что раздобыл кругленькую сумму, — ему, положим, не верили, но всем настолько хотелось верить, что в результате «Оллсуотеру и Йорку» в самом деле перепадали кое-какие средства и удавалось на время отодвинуть нависающий крах.

3

Мартин Йорк вызывал меня к себе в кабинет, когда его особенно припечет. Я с тоской оставляла корректуры — роман Кокто, и «Ночь нежна» в новом издании — у себя на столе. Книги издательства Оллсуотера часто бывали так хороши, так редки. Острым глазом я вылавливала опечатки; с удовольствием выуживала сомнительные места перевода; и не важно, что в офисе стоял многослойный шум, что то и дело бренчал телефон по мою душу, что без меня не могли решиться никакие важные споры. Я всегда с удовольствием читала корректуры. «Ивнинг диспетч»! «Ивнинг ньюс»! — из узкого проулка взлетал голос мальчишки-газетчика; а внутренний телефон призывал меня в ка-

бинет мистера Йорка. И когда я приду — он велел, — если будут звонить, если кто придет — его не беспокоить.

Когда огорчался, он пил виски. А я говорила, говорила, обращаясь к прикрытым векам, к запрокинутому на спинку кресла лицу. Насчет дел в офисе я никогда и не заикалась; рассказывала о быте и нравах в своем доме №14 по Саут-Кенсингтону. Мистер Йорк слушал пристально, я проверяла, он все помнил.

— Как поживает Ванда, миссис Хокинз?

У Ванды, польки-портнихи, неприятностей был вагон, можно бы до завтра рассказывать. Мистер Йорк то и дело подливает себе виски, а я продолжаю про Ванду.

— Ванда, — я говорю, — ужасно страдает.

— Еще не встречал поляка, который бы не страдал.

— В основном ее страдания происходят от прежних страданий. Но сейчас появился новый источник. Я не шучу, мистер Йорк. Ванде несладко приходится. Она получила анонимное письмо.

Все мои тряпочки проходили через Вандины руки. А иначе мне и приодеться-то было негде, кроме как в магазине «Большие размеры» на Оксфорд-стрит, где водилась одеж-

да на всякий вкус, только гигантских размеров. А у Ванды был нюх, Ванда сразу чуяла, что кому пойдет. Брала она с меня сушие пустилки, и соответственно я могла проскользнуть на примерку к Ванде, только улучив момент, когда у нее никого из доходных клиентов. Такой момент мне перепал обычно по воскресеньям под вечер, после пяти. К часу Ванда отправлялась на польскую мессу в Бромптон-Оратори и там, после службы, встречалась со всеми друзьями и родственниками, в те поры осевшими в Лондоне. Считая стариков и детей, не меньше ста польских беженцев были так или иначе связаны с Вандой. Я в этом сама убедилась, разок-другой за ней увязавшись на эти самые службы и сборища. В костеле народу бывало битком. Отцы и мужья слонялись снаружи во все продолжение мессы, чтобы хлынуть к дверям и перекреститься, когда колокол возвестит Вознесение даров.

Была Ванда низенькая, пухлая женщина под пятьдесят. В памяти у меня она подходит к костелу на Бромптоне всегда в отсветах инея, в рамке зимы. Тяжкий дух ладана из дверей валит вместе с толпой на паперть. На Ванде мешковатая, ошетиненная темная шубка, шапочка в тон. Из шапочки сзади вываливается белокурый, сложно сплетен-

ный пучок. Нежный очерк лица, маленькие синие глазки. Болтая с самыми близкими из земляков, она то и дело клонится вперед, как бы в подтверждение своих слов, и в такт с каждым таким наклоном зад ее отклячивается, как бы оттеняя точность приведенных доводов. Собрания подле костела, пролившись на Бромптон-роуд, постепенно мелеют, до того постепенно, что только к трем говорливые беженцы наконец разбредаются, кто в ближайший музей — Виктории и Альберта, Естественной истории, большинство — в толчею кафе, где их ждут пирожки, пирожные с кремом, чаек с лимоном. Эта новая, чуждая жизнь заметно обогащала Лондон.

Порасспросив Ванду, я выяснила, что возле костела в основном обсуждались способы эмигрантского выживания, ресурсы страны, куда их занесло. Как и прочие беженцы, они с собой приносили силу духа; вклад немалый. И в обмен торопились узнать, где им светят пособия и каким образом можно ими разжиться. В какое сунуться министерство? Какие заполнить анкеты? И какие тут школы есть поприличней? Врачи? Для поляков — какие католические школы, врачи? Какие организации? Комитеты и фонды? Лица, фамилии, номера телефонов? Вакансии, биржи труда? С публичными библи-

отеками, частными библиотеками, лучшими читальнями они уже успели освоиться. Ванда, ее приятели знали такие способы выцарапывать средства из послевоенной Британии, какие мне, например, и не снились. Но дело не сводилось к пошлому материализму. Кое-какие друзья Ванды всюду рыскали по лекциям. Пробегал слух: там-то и там-то будет вечером интересно. Вечно в Лондоне где-то о чем-то читали лекции — о политике, об астрономии, о чешской поэзии, польской прозе, обычаях полинезийцев. Пока меня Ванда не просветила, я понятия не имела о том, какую бездну лекций читают в Лондоне.

В те дни фунтов, шиллингов, пенсов Ванда обходилась очень скромными суммами; цены за переделки она назначала в шиллингах. А на переделки она убивала большую часть своего рабочего времени, лишь изредка посвящая дни более ответственной работе: подвенечное платье, костюм для матери жениха, новое летнее платье для одной из своих дам.

Ванда продолжала работать, на руках или на швейной машине, — если только не вертела, не измеряла кого-то, не закалывала на ком-то материю, — когда тут же толклись друзья и враги. Кто-нибудь из женщин хло-

потал у газовой горелки над чаем, а Ванда работала и говорила. Ей-то лично некогда было таскаться по библиотекам да лекциям.

Мужчины среди ее польских друзей, все как на подбор, выглядели куда старше женщин, не то чтобы в отцы им годились, а в старшие братья. Когда я принимала настойчивое приглашение Ванды остаться перекусить, польский язык тотчас учтиво сменялся английским. Я уже запомнила, я узнавала почти всех, кто клубился вокруг Ванды.

Как-то в субботу утром я спускалась проверить почту. На лестнице встретила Ванду. Идет, улыбается, держа письма веером. Мое единственное письмо было от родственницы. Стоя у вешалки, я его распечатывала. Вдруг из Вандиной комнаты вырвался протяжный, громкий, истошный крик, тотчас перешедший в сдавленные, но слышные рыдания.

Я кинулась наверх. Милли выскочила поглядеть, в чем дело, и застыла на нижней ступеньке, задрав голову. Снова горькая жалоба вылетела из Вандиной двери, и, не теряя времени, я постучалась. Ванда, в своем затрапезном черном свитерке, в юбке и синих шлепанцах, держала в руке письмо и надсадно выла. В глазах стоял ужас. Она тянула письмо ко мне. Прежде чем начала

читать, я ее усадила, вообразив, что кто-то у нее внезапно умер из близких, мало ли. В письме было:

Миссис Подолак,
Мы, организаторы, за вами следим. Вы ведете
пошивочный бизнес, но не извещаете власти
о ваших доходах.
Берегитесь.

Один из организаторов

Дешевый конверт из оберточной бумаги. Штемпель Вестминстера.

— Миссис Хокинз, — всхлипывала Ванда, — мне каюк. Меня посадят. Меня депортируют.

Милли подросла, постучалась, чтобы разобраться, в чем дело. Я ее впустила. Краем глаза отметила: Карлины и Кэйт Паркер, сестра милосердия, всполошенные, у себя в дверях.

— Все обошлось, — говорю. — Просто Ванда увидела мышь. Или ей показалось.

Поверили мне или нет, не знаю. Я втянула в комнату Милли и захлопнула дверь.

— Чушь собачья, — объявила Милли, прочтя письмо. — Кто писал?

Тут Ванда снова давай орать, что такого супостата не ведает. Я — снова ее умолять, чтобы успокоилась:

— Зачем нам, чтоб весь дом про это знал?

Ни о какой грозящей Ванде беде я не думала, зато сочла, что анонимное письмо само по себе создаст тягостную атмосферу в доме.

— Чуток коньячку, — Милли, в случае чего, умела взять быка за рога. Она метнулась вниз и возвратилась с крутым коньяком для Ванды, которая, перейдя на шепот, дрожа, твердила, что ее посадят, ее депортируют.

— Подходящий налог не платить — преступление.

Снова Милли взяла быка за рога.

— Да с какого дохода налог-то? — она обвела взглядом Вандино царство, кровать, комковато застеленную в углу, кипы старых тряпок, жаждущих обновления; а то — мужские штаны, которые нужно ушить, кем-то давно лелеемый куцый меховой воротник, который следует переместить с одного пальто на другое; бобины ниток в коробке из-под обуви, блестящие ножницы на рабочем столе, жестяная коробочка: еще помня смолодинный дух ароматических свечек, теперь она, разжалованная, содержит Вандины булавки. Газовая колонка, газовая горелка — всё по своим местам и — честь честью, стулья и подвесные полки — Милли купила их подержанными, по случаю, второпях мебели-

руя комнату; на каминной полке фотографии: Вандины родители в деревянной рамке — мать стоит, отец сидит подле высокой вазы с цветами, обоих давным-давно нет на свете; польский солдат в пышных усах застывшим взглядом всматривается в судьбу: он будет убит. Рядом черная мадонна, Ченстоховская мадонна*, как я теперь выяснила. Дальше: Ванда и ее четыре сестры, потом одна вышла замуж в Шотландию, три других остаются в Польше, и Ванда с сестрой то и дело шлют им консервы, шерстяные чулки и шарфы, вопреки здравому смыслу надеясь, что все это благополучно попадет именно к ним. На шкафу собирают пыль Вандины чемоданы. Самая ценная вещь здесь — швейная машинка; Ванда недавно полностью за нее расплатилась. Слоистый запах всей этой мешанины, запах труда, постели, ношеных тряпок; нафталинное веянье завалящего мехового воротника, запах мыла, чая с печеньем — вот запах Вандиной комнаты, ничуть не противный; и я привыкла к нему,

*Ченстоховская икона Божией Матери — чудотворная икона Богородицы, писанная, по преданию, евангелистом Лукой, главная святыня Польши. Из-за темного оттенка лика она именуется еще и Черной Мадонной. Хранится в Ченстохове. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

недаром я хожу сюда для обвода талии с бюстом, а то и выпить чайку, когда меня зазовут на ее веселое *soirée*. Теперь сквозь все это прорастал смутный коньячный дух: Ванда от воления кое-что выплеснула на свой свитерок.

Я отчетливо помню Вандин ужас в те, первые минуты. Раз — и загублено прекрасное будущее. Это перекошенное лицо, и — как ее трясло! Напрасно мы с Милли ее убеждали, что ей ничто не грозит. Я предложила отнести подметное письмо в полицию; что тут поднялось!

— Послушайте, Ванда, — я говорю. — Давайте я для вас заполню налоговую декларацию. У вас профессиональные издержки, в Польше остались иждивенцы; только разрешите мне все это обстоятельно изложить, и вам не придется платить ни пенни. А хотите, я с вами вместе пойду в налоговую?

— В налоговую?.. — она задохнулась. — Идти в налоговую? Да меня в тюрьму посадят, меня в Польшу вышлют.

Милли меж тем повторяла собственный афоризм: чтобы платить подоходный налог, надо, во-первых, доходы иметь. Но это соображение только еще больше пугало Ванду. Ее арестуют, конечно, за то, что так поздно спохватилась, — пропущено столько лет.

— Да я и не думала про этот налог! С чего бы мне думать! Но кто мне поверит?

Судьи, она уверяла, ей вынесут приговор. Уж и не знаю, что она при этом воображала, множество судей, большое жюри, лязг тюремной двери, — но ее невозможно было унять. Ясно же — она явилась из мира, где тиранство бюрократии несравненно страшней, чем у нас. И при всем при том я видела, что она не прочь пострадать, — освоилась с мученьями, попривыкла.

Мне-то хотелось прежде всего узнать, кто прислал это письмо. Вопрос стучал у меня в мозгу все время, пока мы пытались внушить Ванде, что ей нечего бояться. На мой взгляд, докопаться до того, кто этот анонимный враг, куда важней, чем выморочный вопрос о налогах Ванды. Кто такой этот «организатор»? У Милли на уме было то же.

— Нет-нет, — твердила Ванда, — никто из моих друзей, из моих злейших врагов, да никакой поляк такого не сделает. Ни за что.

— Но он знает вас, этот человек, он немножко о вас знает, Ванда.

— Кто-то в доме, — предположила Ванда.

— Еще чего! — тут уж Милли встала на дыбы. — Небось из ваших клиентов кто-то, и мало ли кто возле вас ошивается.

— Да зачем им? — и тут Ванда взвыла и закрыла лицо руками.

Я не сомневалась, что кто-нибудь придет Ванде в голову, когда она успокоится.

Теперь уж и Милли разволновалась. Весь субботний вечер мне пришлось ее успокаивать. Ванда приняла снотворное и улеглась в постель, а мы пообещали, что отвадим всех, кто бы к ней ни явился, под тем предлогом, что ей-де пришлось переть аж в пригород, измерять новую даму, очень важную даму. Ванда мне разрешила взять письмо с собой. Я хотела над ним поразмыслить.

— Вот гад! — Милли поморщилась. Она нисколько не сомневалась, что письмо написал мужчина.

— Уж точно это не женщина! — вскинулась Милли, когда я заикнулась о такой возможности. Меня даже тянуло с ней согласиться, но я не находила солидного повода освободить от подозрения женщин.

Ну да, в разговоре с Вандой она не готова была допустить, что кто-то в доме или связанный с домом писал письмо, но сейчас, со мной, она не прочь рассмотреть и такой вариант, пусть даже для того, предположим, чтобы его исключить. Кто такие эти «организаторы»? Этот «организатор», писавший письмо?

Оно было писано на голубоватой бумаге, выведенными от руки, аккуратными буквами, тесным, поджарым почерком. Похоже,

это был естественный почерк писавшего, но там и сям вдруг нарочно измененный: кое-какие из «эль» разрослись, утратив сходство с прочими, слово «бизнес» так накренилось вправо, что легко бы сошло за курсив; отдельные буквы вдруг странно изгибались в прямой, выстроившейся по стойке «смирно» строке. Я сощурилась, глядя в письмо. На секунду почудилось, что я эту руку знаю; да, но откуда? Проверяя себя, посмотрела во все глаза — мигом впечатление улетучилось. И откуда мне было знать почерк кого-то в доме, кого-то в Вандином кругу. Сколько раз я видела Вандину почту на столе в прихожей, на коврике у нее под дверью, но на почерк не обращала внимания. Ну а почерка других обитателей дома я и вовсе не видела — разве что трогательные каракули Милли. Зато мне сразу кинулось в глаза несоответствие диковатого тона письма с относительно изощренной рукой; будто передо мной литературный опыт, пусть и хромой; будто поползновение на пародию, пусть с негодными средствами. Кто-то явно изобрел этих «организаторов» исключительно для того, чтобы насолить Ванде. Принадлежи она к моему кругу, к миру издательств и книг, я бы знала, как поступиться к сортировке в общем-то вероятных виновников; я говорю «в общем-то вероятных», потому что даже среди тех, с кем

я сталкивалась по работе — а литературная поденщина порождает тех еще чудовищ, — мне трудно было бы кого-то зачислить в подзреваемые. А уж вздумав высматривать виновного в окружении Ванды, я тотчас погрузилась бы в непроглядный туман.

Предположение, что это, может быть, кто-то в доме, больно задело Милли, стало у нее прямо-таки навязчивой идеей. И она опасалась, кстати, еще новых писем.

— Бог Троицу любит, — объявила Милли, приверженница народной мудрости; она отмеривала ложечкой чай в горячий заварочный чайник; обожала подмешать к чайку афоризм.

В конце концов мы решили перебраться всех жильцов, одного за другим.

Во-первых, Карлины, Бэзил и Ева, в большой комнате с маленькой кухней на втором этаже.

— Не могу себе представить, что это они, — сказала я.

— Я тоже, — сказала Милли. — Тихие. За комнату плотят исправно, тютелька в тютельку.

— В тихом омуте черти водятся, — я не осталась в долгу.

— Вот именно. В самую точку.

— А чем он занимается вообще-то?

— Ну, — сказала Милли, — я только знаю, что он устроился в Клэпеме, в инженерной фирме какой-то, бухгалтером.

С Бэзилем Карлином мы когда-никогда обменивались парой слов; один раз в тесноте верхней палубы автобуса, когда единственное свободное место оказалось рядом со мной. Тут-то он, кстати, и сообщил мне, что он — инженерно-технический персонал. Тихий тип, кто спорит, но насчет омута — вряд ли. И вообще, противно зачислять своих же соседей, нормальных людей, с которыми то и дело сталкиваешься на лестнице, в подозреваемые. Я вспомнила, как Ева церемонно, бочком проскальзывает по Миллиной кухне на задний двор, чтобы распать на веревке мужние выстиранные рубашки. Тонкая, легкая, будто обороняясь, выставляет локти при ходьбе. Бэзил — тот среднего роста, и фигура — вполне ничего, жидкие светлые волосы, очки на носу. Оба люди как люди, не придерешься.

— Прямо стыдоба, хуже нет, — вздохнула Милли, — перебирать всех подряд.

— Вот и я то же подумала. Чувствуешь себя предательницей.

И впрямь, выискивать преступника унизительно. Но все равно я решила как можно беспристрастней исчерпать все возмож-

ности. Хотя — отнести это письмо в полицию было бы в сто раз приятней.

— И какой зуб могут Карлины иметь против Ванды? — сказала Милли. — Они ж ни с кем тут вообще не контактат. И Ванда на днях ей подол выпускала.

Ага, она ей выпускала подол?

— Предположим, она выпускала подол Еве Карлин, — сказала я. — А вы почерк их знаете?

— В жизни не видела. Они наличными платят.

Все мы платили наличными. Чем меньше бумажек разводить, тем оно лучше, — было мнение Милли.

Ванда выпускала подол Еве Карлин. Больше мы ни к чему не пришли. Затем я предложила на рассмотрение мощную Кэйт Паркер с ослепительными зубами, которая даже сейчас, даже субботним вечером, навела чистоту в своей комнате наверху. Мы слышали грохот мебели, выдвораемой на площадку в процессе беспощадной войны с бациллами. Я вспомнила эти ее коробочки: «электричество», «транспорт», «газ», «прочее» — все у нее организовано.

— Только не Кэйт, — сказала Милли. — Вот на кого ни за что не подумаю.

Я тоже. Хоть Кэйт и не одобряла захлавленную комнату Ванды, толкотню иностран-

цев под дверью, жизнь не как у людей, я бы ни за что не поверила, что это Кэйт.

Вот только одно: Кэйт по своей природе организатор.

Около пяти я отнесла Ванде чай. Она не спала, она плакала. Уже улеглась в постель, распустила волосы. Я в первый раз увидела эту буйную, натурального пшеничного цвета пушу, рассыпанную по подушке. Впечатляющий вид. А ведь у нее — мелькнуло у меня в голове — вполне может быть любовник, по крайней мере, поклонник, кто-то за ней, может быть, увивается, а у него соперник, отставленный, мстительный, или это ревнивая женщина, чей муж заглядывается на Ванду. Да уж, как мало мы замечаем друг друга. Я увидела Ванду в новом свете, не только достойной польской матроной, но еще и привлекательной женщиной, и круг подозреваемых мигом разросся. Но ведь не спросишь ни с того ни с сего, в лоб: «Ванда, не припомните ли вы мужчину, равнодушного к вам, или, наоборот, злопыхателя, причем мой вопрос относится к женщинам тоже?» Не спросишь, потому что тут она, конечно, вскипит, взовьется. Она хочет выглядеть благочестивой швеей, вдовой, преданной памяти мужа. Ну а вообще, где ей и время-то взять для амуров, хотя бы для легкого флирта?

И она так заливалась, так изводилась, что никакими разумными доводами ее было не пробрать. О Господи! Она же это происшествие будет мусолить до скончания века!

— Ванда, — я сказала, — плюньте, забудьте. Если придут опять, я их отнесу в полицию.

— Опять!.. Опять!.. В полицию!

Милли открыла дверь, вошла. В первый раз увидела синеглазую Ванду в постели, с распущенными волосами и, конечно, подумала в точности то же, что я: Ванда привлекательная женщина, Ванда сексуальна. А мы-то, дуры, не замечали.

— У меня есть враги, — причитала Ванда.

— И Бог с ними, — постановила Милли.

Мы оставили Ванду за чаем.

— Тоже мне, — сказала Милли, — сама вечно талдычит про друзей и врагов. А теперь удивляется, что у ней враг объявился. Говорит — мои друзья и враги, как ни в чем не бывало. Иностранцы вечно так говорят. И надо же, сколько народища ошивается у нее под дверью...

— А какая она хорошенькая с распущенными волосами, — вставила я.

— Ага, правда? — отозвалась Милли.

Вечером, после ужина, мы принялись за других жильцов. Итак, предположим, что это

моя соседка по верхотуре, юная Изобел, у которой куча друзей, и каждый вечер она звонит своему папочке. Снова мы с Милли выпучили глаза, глядя друг на друга. Чтобы Изобел, надо же, и вдруг написала гнусное анонимное письмо!..

— Я с папашей ее знакома, — объявила Милли так, будто это решает вопрос. Я не была с ним знакома, но и впрямь постоянное, пусть телефонное присутствие папаши в ее жизни как-то ей придавало надежности; но больше даже, чем эти ежедневные звонки папочке, ее живость и толпы юных, толкущихся возле нее оболтусов ставили Изобел вне подозрений. Чтоб человек, безалаберный и беззаботный, как Изобел, с разбегу падающая в поданное такси или в машину дружка, такой человек, да вдруг настрочил это пакостное посланье? Да нет же, он, конечно, угрюмый и пышет злобой — тип, до которого мы хотим докопаться.

Мы с Милли чувствовали себя виноватыми, разбирая по косточкам тех, кто с нами живет под одной крышей. Но я заметила, что, хоть мы в конце концов всегда приходим к общему выводу, Милли рассуждает иначе: она норовит выгородить своих жильцов потому, что они ее жильцы, а я их оцениваю более беспристрастным взглядом. Ах, да ка-

кая разница, скоро сообразила я, ведь прежде чем впустить к себе в дом, она вытягивает из каждого всю подноготную. Но все равно, все равно мы могли допустить ошибку. И смутно ощущали свою вину. Письмо, лежавшее на столе у Милли, дышало этой виной, источало эту вину, громко о ней кричало.

Остался еще Уильям Тодд, студент, выпускник медицинского института. Вот я пишу — остался один, а ведь, строго говоря, круг подозреваемых должен бы включать и нас с Милли. Я ей указала на это, но она удивилась:

— Да нам-то это какой?

Тут я сообразила, что тот же самый вопрос может задать каждый жилец. Зачем кому-то в доме травить Ванду? Зачем? Для чего? Музыка из приемника Уильяма Тодда переливалась, стекала вниз, подмешивалась к нашему разговору. Обычно в субботу вечером Уильям уходил, а сегодня, видно, решил позаниматься. Обычно, гулко протопав мощными ножищами по ступеням, он отправлялся к друзьям, в бар возле метро. Я сама его там не раз видела, когда поздно возвращалась с работы. В кругу молоденьких парнишек и девочек, тоже по виду студентов. Ну с чего, с чего бы Уильяму вдруг пришло в голову писать это хамское анонимное письмо

Ванде? Да он, скорей всего, и вспоминает-то о ее существовании только тогда, когда нос к носу с ней сталкивается на лестнице.

— Нет, тут не наши, — решила Милли, — это кто-то из ее публики. Так я ей утром и выложу.

К концу вечера Ванда в наших глазах сама отчасти переместилась в стан обвиняемых, кажется, уж тем виноватая, что стала жертвой омерзительного посланья (автор неизвестен), лежавшего сейчас на столе у Милли и провонявшего злобой всю кухню.

4

— Ванда все смотрит и смотрит в окно, — я рассказывала Мартину Йорку. — Видит шпионов на углу. Шпионы из бакалеи преследуют ее по пятам. Правительственные шпионы, частные детективы.

Скоро все обитатели дома №14 по Саут-Кенсингтону знали про ее беду. Не в силах держать при себе свой секрет, она в то же время жаловалась, что все про нее судачат. В доме №16 и то — кипрский муж с женой-англичанкой, неизвестно каким путем, уже до конца недели всё досконально узнали. Даже звонили — выразить солидарность, при-

чем муж всерьез предлагал свернуть шею обидчику, пусть ему только его укажут.

— Они называют себя «организаторы», — я сказала, на всякий случай, вдруг что-то ёкнет под ложечкой у этой четы.

— «Организаторы»! — вскипела жена. — Мне бы до них добраться, уж я бы их организовала!

Мистер Туинни, на все руки мастер из дома № 30, тоже был возмущен.

— Ни один порядочный человек, — сообщил он мне, доверительно понижая голос, — не мог бы так поступить с дамой. С вдовой тем более.

И с работой у Ванды пошли нелады. Ее хмурая зажатость озадачивала клиенток, и те, уходя после примерки, спрашивали у Милли, чем они нечаянно досадили Ванде?

— На Ванду вдруг что-то нашло, вот и все, — был ответ.

— Да что случилось? В чем дело?

— Пройдет, пройдет, помяните мое слово, — был неизменный ответ.

Но от польских друзей так легко не отвертись. Не прошло двух недель, а все они уже знали об анонимном письме; в следующие две недели все они уговаривали Ванду опомниться и встряхнуться. «Ах, подумаешь, ну что они тебе сделают?.. Ах, подума-

ешь, тут же ни вымогательства, ни угрозы... Ах, подумаешь, видно, тут псих ненормальный, он такие письма сотнями рассылает, тысячами, этот тип».

Я рассказала про письмо Мартину Йорку, и меня тронула нерассуждающая широта, с какой он сразу же предложил услуги собственного адвоката, разумеется, за свой счет, чтобы выручить Ванду. Эта история его возмутила. Но он и сам тогда уже глубоко увяз в неприятностях, просто я ничего не знала. Несколько месяцев спустя, когда судья на процессе, рассудив, что «для коммерческой деятельности нужны исключительно чистые руки», впаял Мартину Йорку срок в семь лет, мне вспомнилось, как он рвался помочь Ванде, безвестной швее-иммигрантке из Саут-Кенсингтона, о которой он всего-навсего слышал от меня.

И в то же время Мартин Йорк любил козырнуть рискованным советом, попахивающим анекдотцами офицерской кантины.

— Проблема подоходного налога решается просто, миссис Хокинз, — скажет он, например, — вы ни с того ни с сего шлете им чек на восемь фунтов, семнадцать шиллингов и три пенса. Что-нибудь в таком духе. Они не могут соотнести подобную сумму ни с какими своими цифрами; ваши данные пе-

редаются из рук в руки месяцами, годами и, в конце концов, пропадают.

— Нет, мне такое не подойдет, — отрезаю я, — ведь это пропадут чьи-то деньги.

— Именно, миссис Хокинз.

В те времена я все принимала за чистую монету, и, возможно, потому-то он чувствовал, что можно мне довериться, на меня положиться.

Ванда тогда к адвокату не обратилась; слишком была затравлена. Но в конце концов препоручила нашему издательскому бухгалтеру правильно подсчитать ее подоходный налог. Она задолжала, оказывается, двенадцать фунтов с чем-то, но несколько месяцев спустя получила четыре фунта сдачи: «возврат переплаты». Анонимные письма больше не приходили, и волна страха, недоумения и подозрительности, накрывшая было наш дом, отступила. Отступила, но не окончательно: вот уже снова вскипала вдали. Вдруг я ловлю себя, бывало, на том, что по-идиотски пялюсь на кого-нибудь из соседей, на кого-нибудь из Вандиных посетителей; я терялась в догадках. А поскольку я терялась в догадках, иногда даже призадумывалась, легко было допустить, что и с другими жильцами случается то же. Может, и они тоже думали, и они рассуждали. Что каса-

ется Милли, тут я знаю точно, Милли бдительно отмечала каждого, кто сунется к Вандиной двери.

— Дама на примерку, — докладывала она, — старый поп; родич ее молодой, тоже в ксендзы намылился; малый с почты, костюм ему перешить; а эти, всей польской семейкой, вечно пирожки ей таскают; две польки, музыке учат, сестры...

Но сама я активней налегала на расследование. Поразительно, чего только постепенно не выясняешь о человеке, стараясь рассеять собственные подозрения. Для начала я сблизилась с соседями, со всеми подряд.

Ну а Ванда ходила как в воду опущенная, на себя непохожая. Она притихла; она постарела и выцвела. Конечно, и время берет свое, время — оно никого не щадит. Но в данном случае, с Вандой, — тут уж была работа анонимного автора, паскудного «организатора». Письмо осталось у меня, поскольку я обещала Ванде и дальше его изучать и докопаться-таки до того, кто ее враг. Я понимала, что почерк — штука тонкая и подходить к его исследованию нужно потоньше, исподтишка. Я купила учебник по графологии и, помню, одна, у себя в мансарде, из ночи в ночь перечитывала письмо, в лупу разглядывая очертание каждой буковки. А глаз у ме-

ня наметанный, я обожаю ссылки и сноски. Я купила блокнот ин-кварти и туда вносила заметки о графологических особенностях текста: петлистое «з», «д» совсем без петли, замкнутое «о», разомкнутое «а», некоторые «л» вдруг так вымахивают над строкой, что сразу вызывают подозрение в подделке. Одним словом, письмо с головой выдавало все признаки измененного почерка, как неувязки в показаниях выдают преступника на допросе.

Но все равно, ключ к отгадке следовало, конечно, искать в жизни Ванды; было явно что-то такое, чего сама она не заметила, кто-то такой, кого она начисто забыла.

А Ванда все мучилась, теперь уже не из-за бедствий, грозящих со стороны министерства финансов, но, куда обоснованней, из-за того, что кто-то знакомый ни с того ни с сего оказался такой сволочью.

— Доброе утро, миссис Хокинз! — Это кипрский муж, наш сосед, мыл свой велосипед, а я шла на работу.

— Доброе утро, Марки. — Он требовал, чтобы мы именно так к нему адресовались, и всерьез смущался, если кто-нибудь называл его мистер такой-то. И далеко не сразу ко мне тоже стали обращаться по имени. Это

совпало с тем временем, когда я решилась сбросить свой невозможный вес. Тут я тоже стала просить, чтоб меня называли Нэнси вместо миссис Хокинз, каковой я была для всех тем летом тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года, когда добиралась на службу сперва автобусом, а потом через Грин-парк, напрямик, в дождь и в ведро, не важно.

Мы так мало, так ужасно мало знаем о самоубийстве, а все потому, что главный свидетель выбыл, обычно унеся с собой свою тайну, ибо никакой предсмертной записке не дорасти до масштабов самого события. Но то, что называется самоубийственным поведением, отчаянный бег к катастрофе, хоть вовсе не обязательно к смерти ошалелого бегуна, вот это я наблюдала своими глазами в издательстве Олсуотера. Той весной я неспроста призадумалась о безудержном стремлении Мартина Йорка к тяжелой расплате, услышав по радио — дело было шестого мая, — что бегун Роджер Баннистер побил мировой рекорд своим результатом: миль меньше чем за четыре минуты. А Мартин Йорк, мне подумалось, небось побыстрее бежит, он покроет милю за минуту, даже когда сидит неподвижно, потягивая свой виски. Раз как-то вызывает он меня к себе в кабинет. Какие-то он бумаги подписывал. «Не за-

верите ли вот эти подписи, миссис Хокинз?» Я, с ручкой наперевес, придвигаю к себе бумаги, которые он уже подписал, а он еще что-то подписывает. Но заверять я ничего не стала. Смотрю — это письма в банк, и — подписи, совершенно не измененным почерком Мартина Йорка, но — не его подписи. И среди них одна — Артура Кэри. А сэр Артур Кэри в те поры был виднейший финансист, вечно мелькал в газетах вместе со своей развеселой женой. Больше я не успела ничего разглядеть. Мартин Йорк, предвидя мои возраженья, выхватил у меня бумаги.

— Вы же не подделываете чужие подписи, мистер Йорк? — говорю я шутя, ничуть не желая его обидеть.

— Подделываю? Нет, конечно. Подделывать — значит копировать чью-то подпись. Артур мне разрешил за него расписаться, и все. Но, очевидно, эти подписи можно и не заверять. — И он сунул бумаги в ящик стола.

Только через много месяцев я узнала, что бумаги, которые я тогда видела, были частью мошеннической схемы, до того наивной, что она буквально нарывалась на разоблачение. Тогда я подумала, что при такой наивности мошенничество не может быть крупным. Подумала даже, что это заурядный образчик его самоиронии на галопе к краху.

Краха было не миновать. Мартин в тот год стал принимать на службу «литературных консультантов», юнцов из хороших семей, но с плохими мозгами, за которых хлопотали отцы. Им полагалось жалованье. Они норовили явиться в издательство в пятницу, в день выплат, и мы развлекались, на них глядя. Через две-три недели одни улетучивались, сменялись другими, те третьими, от их мельтешенья рябило в глазах. Непродолжительность их трудовых усилий объяснялась тем, что мистер Оллсуотер спешил урезонить Мартина Йорка: «Это что еще за व्यоноша я видел внизу?» или: «Что за молодой кретин заваривает ароматизированный чай в общей конторе?» Мартин Йорк пускался в объяснения в том духе, что человек, дескать, присматривается к делу. Но слишком уж часто, приходя в пятницу, они не обнаруживали вожделенного конверта с деньгами, и все по очереди испарялись, к великому сожалению нашей машинистки Айви.

Однако куда опасней для гибнущей фирмы были втируши, вымогавшие у Мартина Йорка согласия на издание их кошмарных книг.

Иной раз, я думаю, подписывать эти самые книги к печати соблазняла его не так неразборчивость, как убежденность, широ-

ко распространенная, между прочим, будто бы из каждого бойкого, лихого рассказчика наверняка должен вылупиться писатель. Да ничего подобного! Ну а вдобавок Мартина Йорка подводила еще и другая иллюзия: он думал, что мужчины и женщины высоко-го происхождения и высокообразованные, и талантом тоже всегда переплюнут авторов из более скромной среды. В тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году кое-какие блистательные издатели тоже в глубине души так считали.

Издатели, по понятным причинам, норовят своих авторов сделать друзьями. Мартин Йорк норовил сделать авторов из своих друзей. Он сулил договора самым невозможным трепачам, сплетникам и балаболам из числа своих знакомых, однокашникам с их женами, старым армейским друзьям с их женами.

И тут уж приходилось действовать мне. Именно мне то и дело выпадала честь отвергать книгу, на которую мистер Йорк за рюмкой, не глядя, обещал подмахнуть договор. Дружки знали, где застукать Мартина Йорка вечером после работы, от шести до девяти. Беспардонно туда заявлялись, слушали его печальную повесть, и хоть в издательских и литературных кругах всем уже было ясно, что издательство Оллсуотера идет ко

дну, стаи черного воронья налетали на Мартина Йорка, поклевать напоследок. А наутро я их шугала.

Но тут господин, которого я прозвала *Pisseur de copie**, широко вшагивает в мой рассказ. Забыла, кто из французских символистов на исходе прошлого века покрыл этим прозвищем всех скопом продажных писак, но оно крепко засело у меня в голове, и на кого я его только не примеряла из тех, кто домогался свидания с Мартином Йорком или вокруг него увивался; но в конце концов я его закрепила за одним-единственным человеком, и это был Гектор Бартлет.

Понятие «высший класс» значило тогда больше, чем оно значит теперь. И Гектор Бартлет не упускал случая или в лоб объявить о своем аристократическом происхождении, или тонко на него намекнуть, так что я заподозрила, что происхождения он самого что ни на есть помоечного; и я оказалась права и даже не одинока в своих догадках. Но многие покупались на его бахвальство, даже удивительно, и, в частности, те наивные души, которые глушат в себе подозрения, не могут назвать наглый обман — об-

* Писающий экземплярами (фр.).

маном; да и зачем, собственно, на неприятности нарываться — себе дороже.

Он меня подкарауливал в Грин-парке, когда я шла на работу, когда возвращалась домой. Я иной раз забавлялась: подбивала его щегольнуть превосходством породы и не меньшим превосходством в учености, на которое он посягал. Он знал названия книг, всех, каких надо, знал, какие надо, фамилии авторов, но толку-то чуть, он очень мало читал.

А ко мне он подъезжал для того, чтоб я его представила Мартину Йорку, а уж дальше, заручившись его поддержкой, можно было бы подкатиться к дядюшке Мартина, кинопродюсеру.

Pisseur de copie! Гектора Бартлета, кажется, рвало разговорами о литературе, он ими потел и мочился, ими он испражнялся.

— Миссис Хокинз, я вкладываю неисчислимые усилия, шлифуя свой стиль.

Еще бы. Усилия были заметны. Его спотыкливые тексты болезненно корчились, а эти ужимки слога, выморочные слова, несуразные повторы, вязкое словоблудие, длиннющие, якобы восходящие к латыни вокабулы!

Помню то утро, когда я окончательно убедилась, что наши встречи в Грин-парке на

подступах к моей работе неслучайны. Уж слишком часто он попадался мне на глаза. Было свежее июньское утро, и был понедельник, это я доподлинно помню по неожиданной радости, давно не посещавшей меня уже много лет, той радости, с какой я думала об отце юной Изобел, которому она ежевечерне звонила из своей комнаты и с которым я познакомилась накануне в церкви. Церковь была англо-католическая, у Куин-гейт. Встаю я с места, петъ «Кирие элейсон»*, и вижу: через два ряда от меня, впереди — Изобел. И господин гораздо старше. Я сразу решила, что это ее отец, так и оказалось, когда мы вышли из церкви и Изобел мне его представила. Хью Ледерер. И в первый раз за долгие годы вдовства, я, как увидела его с Изобел, подивные звуки «Кирие», сердце у меня стукнуло невпопад и подумалось: до чего ж привлекательный. И вот в понедельник иду я по парку под свежий шелест июньского утра, и «Кирие» поет у меня в голове, и встреча в церкви, и неожиданный-негаданный обед, и остаток чудесного воскресного дня — все поет у меня в голове. И при таком настроении, конечно, увидеть Гектора Бартлета, мельтешащего на твоём пути, удовольствие малень-

*«Господи помилуй» (*греч.*) — в англиканской церкви прихожане поют это, встав со скамей.

кое. Не очень-то я рвалась ему потакать в то утро. Завидел меня издали, пока я его еще не заметила, стоит у скамейки и притворяется, будто раздумывает, сесть или нет. Стоит, в девять пятнадцать утра, и мне меньше всего хочется, чтобы именно Гектор Бартлет смешал строй моих мыслей и чувств, но он, как-то демонстративно даже, на это нацелился. Рыжие волосы en bross*, коричневые вельветовые брючки, твидовый пиджак с кожаными латками на рукавах, желтый галстук, рубашка зеленая в клеточку: аляповато по тем временам, но Гектор Бартлет всегда выглядел, как попугай. Высокий, сутулый, и это его старило — ему тогда, по моим подсчетам, было лет тридцать с хвостиком. Лицо круглое, с толстым двойным подбородком. Рот маленький, детский, вспученный, будто вечно требует соску.

По дорожке впереди меня шла, ластясь друг к другу, в обнимку юная парочка. Они как бы вычеркнули Гектора, этого Pisseur de sorie, из моего поля зрения. Похоже, вместе шли на работу, возможно, в один офис, поскольку как раз был час начала работы офисных служащих. Прошли мимо скамейки, возле которой топтался Гектор Бартлет;

* Ежиком, щеточкой (фр.).

и тут я увидела, что он сел; подстерегал меня, а теперь вскочил мне навстречу:

— Доброе утро, миссис Хокинз, какой приятный сюрприз! — И, указывая на удаляющихся влюбленных. — Утехи юности!

Сама не знаю, что на меня нашло, но тут я возьми и скажи, не про себя, как обычно, а вслух:

— *Pisseur de copie!*

— Что, простите, миссис Хокинз? — Перепуг у него на лице сменился недоумением, и в конце концов он решил не верить своим ушам. Не для того он меня подстерегал, не для скучных разборок, и с кислым смешком он нашелся:

— Прекрасное утро!

— Не работаете сегодня? — спросила я.

Он что-то ответил, не помню, не важно. Постоянной работы, я знала, у него не было. Иногда писал рецензии на невнятные книжки для захолустных газет, а в основном жил, чем придется, и за счет писательницы Эммы Лой. Тут я как раз ничего не могу сказать. Мало ли я знавала неизвестных писателей — правда, в основном помоложе Гектора Бартлета, — которым приходилось ловчить, из кожи лезть вон ради денег и делиться перепадавшими крохами со своими партнерами, а то, наоборот, жить на деньги более удачли-

вых друзей. Ну а насчет Гектора Бартлета я сама, помнится, когда-то хотела пристроить его на работу, причем — ну как нарочно для него созданную: а именно, обивая пороги, всучать энциклопедию жителям пригорода. Уж он бы с пеной у рта воспевал эту энциклопедию, уж он бы разливался в восторгах, неотразимо впечатляя домохозяек. Но он эту работу отверг, его право; и это бы еще ничего. А весь ужас в том, что он вечно пытался меня оприходовать, протащить свои замыслы, пользуясь моим якобы влиянием на Мартина Йорка. В то утро он за мной дотащился до самой двери издательства, навязывая мне свою идею — переделать в сценарий один роман. Дядя Мартина Йорка был кинопродюсер и очень богатый человек, это да, однако все его богатства в конце концов не спасли Мартина Йорка от застенка. Но в те поры никто еще ничего такого не подозревал, и Гектор Бартлет испортил мое свежее июньское утро своим непрошеным обществом, да еще усугубил положение, взявшись пересказывать содержание романа, который обрек себе в жертву.

— Да знаю я этот роман, — не выдержала я.

Роман был Эммы Лой. Эмме было тогда за сорок, она успела прославиться. Гектор

Бартлет с некоторых пор волочился за нею хвостом. Куда бы она ни явилась, он — тут как тут. Странное дело, все вокруг недоумевали. Эмма Лой, прекрасный писатель, казалось бы, не могла не заметить, что писатель из Гектора никакой. Так нет же, она пыталась всучить его творения в издательства и журналы, заинтересованные в ее собственных книгах. Знакомила со всеми влиятельными людьми, но те только диву давались, и никто палец о палец ради него не ударил.

Потрясающая женщина, эта Эмма Лой — значительные черты, легкие темные волосы зачесаны назад. И всегда она в сером — серое ей к лицу. Мы с ней тогда уже довольно давно были знакомы. И я не понимаю, с чего ей взбрело в голову опекать Гектора Бартлета. Может, ей льстило постоянное внимание мужчины чуть ли не на десять лет ее моложе? Чтоб она в него влюбилась — ну нет уж, ни за что не поверю. С какой стати? Женщине с воображением, острой, умеющей обворожить, когда надо, — зачем он ей сдался? Потом, потом уже, когда ей стало трудно совмещать свою мировую известность, нового, настоящего мужчину, и Pisseur'a в придачу, она от него отвертелась. Но это дорого ей обошлось.

А тогда все это пряталось в плотном тумане будущего, и у Гектора Бартлета было

разрешение переработать в сценарий роман Эммы Лой.

— У меня эксклюзивные права от Эммы, — он мне сообщает. — Теперь-то С.Т. Йорку деваться некуда.

— Ну и напишите С.Т. Йорку, — говорю.

— Предпочительней добиться от Мартина Йорка, чтобы он презентовал меня дядюшке. Это, скажем так, самому Мартину будет отнюдь не вредно. А вы сами могли бы шепнуть ему на ушко кое-что в том смысле, что, мол, нам выпадает редкая возможность без ущерба перенести эту прелестную прозу на волшебный язык кино. Непотизм, полагаю, еще никто не отменял.

И как Эмма Лой его терпит?

Вот мы у самой двери нашей конторы. Сейчас пробьет полдесятого. Он норовит увязаться за мной наверх и продолжать «разговор о сценарии».

— Это, к сожалению, неудобно. Всего доброго, мистер Бартлет.

— И вы не хотите называть меня просто Гектор?

К собственному своему изумлению, на это я ему отвечаю:

— Нет уж, я называю вас Pisseur de copie.

Навстречу грянул слоистый утренний офисный шум. Ох, этот шум, и наплывы

прошлого в милые часы бессонницы, драгоценной моей бессонницы, — ах, сколько лет, сколько зим, сколько воды утекло.

Утро стучало, журчало, урчало и грохотало, трещала машинка Айви, что-то бубнила Кэти, наш бухгалтер, дробно шелкали по голым доскам чьи-то каблучки, чьи-то подошвы шаркали, звякали чашки: кто-то варил кофе. Ко всему этому приплюсовалась, естественно, и Патрикова жена, на сей раз уже не меня избравшая мишенью своих наскоков, но, справедливости ради, надо признать, что шум, собственно, не она создавала, а мы, всем скопом пытаясь ее осадить. Тоненько тренькал городской телефон, зычно басил внутренний. Айви отвечала надменно:

— Мистер Йорк в совещании. Что-нибудь передать? Мистер Олсуотер на несколько дней отлучился из Лондона. А кто его спрашивает? Простите, как это пишется? (У Айви «н» выходило, как «д», так что весь текст ее звучал отчасти таинственно: да десколько ддей... из Лоддода). Миссис Хокинз в совещании. Ах, я *не знаю*, когда она освободится, попозже перезвоните, *пожалуйста*. Миссис Хокинз, по-видимому...

Моя фамилия прорезалась сквозь шум чаще обычного.

— Что там за народ меня добивается? — спрашиваю у Айви.

— Да все одна и та же дама. Эмма Лой какая-то. Что-то срочное, она еще перезвонит.

У всех, кто нам звонит, всегда что-то срочное, но Эмма Лой особая статья, Эмма — это важно, хоть для издания своих книг она до таких, как мы, не снисходит. И я говорю Айви:

— В следующий раз, как она позвонит, я возьму трубку.

Она звонит в двенадцать, тютелька в тютельку. Я точно помню, потому что у меня тогда было заведено ровно в полдень читать «Ангелус»*, и даже если кто-то мне в это время мешал, у меня в голове пело:

И послан был Ангел от Бога...

— Вас миссис Лой спрашивает, миссис Хокинз, — возвещает Айви.

Дух святой найдет на тебя...

— Я слушаю, да, здравствуйте, миссис Лой.

— Я очень беспокоюсь. Это насчет Гектора. Что вы ему такого сделали сегодня утром?

— Я? Ничего. Он хочет один ваш роман переделать в сценарий.

Радуйся, Благодатная, Господь

— Он говорит, вы как-то там его обозвали, какой-то был невозможный эпитет.

* Молитва католиков, читаемая трижды в день.

с тобою, благословенна ты в женах...

— Я всего-навсего сказала, что он Pisseur de sorie. И это же чистая правда, нет?

Она, конечно, должна бы сама это понимать.

И Слово стало плотью...

В тот день я потеряла работу в издательстве Оллсуотера. Мартин Йорк со слезами на глазах мне объяснил, что я должна уйти. У Эммы Лой влиятельные друзья в издательском мире, и в типографиях, и, что хуже, в торговле виски, с помощью которого Мартин Йорк безнадежно пытался поправить свои дела.

— И зачем вы это сказали? С чего это вдруг? Так чудовищно никого нельзя оскорблять, миссис Хокинз, тем более близкого друга, *такого* близкого друга Эммы Лой.

Тем временем вечернее солнце червонным золотом растекалось по скатам крыш, а заодно высветляло мои мысли о прошлом, о будущем и, между прочим, о том, как мне теперь быть. Но ведь я сама хотела уволиться. Нет, ну правда же, я хотела. «Я вам пришлю то, что мы задолжали», — пообещал Мартин Йорк дрожащим голосом. И я ни чуточки не удивилась, что он мне ничего не прислал.

В октябре его судили за подделку банковских документов, за попытку ввести в заблуждение кредиторов. Все газеты кричали об этом процессе. Мартина Йорка признали виновным и осудили на семь лет заключения — крутой приговор, даже по тем временам. «Для коммерческой деятельности, — тогда-то и объявил судья, — нужны исключительно чистые руки», — а я чуть ли не слово в слово то же самое ему говорила. Только я, конечно, на таком основании не упекла бы его на семь лет в тюрьму.

После вынесения приговора Гектор Бартлет взялся строчить одну за другой злорадные пакостные статейки про Мартина Йорка, густо политые слюною и желчью, загроможденные гнусными рассказами о якобы близком знакомом. Они появились в нескольких бульварных газетенках, а потом вместе с прочим бумажным хламом канули в небытие. И только уже через много лет сам Pisseur их из этого небытия выудил, воскресил, расцветил и, кое-что туда подмешав, всю эту стряпню сунул в свои смехотворные маразматические мемуары, которые издал за свой счет с подзаголовком «Прощай, Лестер-сквер». Совсем недавно я их прочитала: случайно напоролась на эту дрянь на прилавке с залежалым товаром.

У меня были кое-какие сбережения и скромная пенсия, так что не пришлось впопыхах искать другую работу. Несколько месяцев между моей вынужденной разлукой с издательством Оллсуотера и арестом Мартина Йорка я проваландалась, находя сама себе оправдания. По природе я пуританка и моралистка; к счастью, умею отличить хорошее от плохого (независимо от того, как поступлю в результате). Но мстить, строгим судом судить себя и других — это не про меня. Мне бы, главное, в себе разобраться; прочее мы предоставим Господу.

«Для коммерческой деятельности нужны исключительно чистые руки». Но позвольте, извините, пожалуйста, разве для другой какой-нибудь деятельности они не нужны? Примерно тогда же, когда прогорело наше издательство, я читала, помню, одну книгу про елизаветинского священника, принявшего мученическую смерть за непокорство. Автор пишет: «Его обвинили во лжи, воровстве и даже в безнравственности». Я отметила странную фразу, поскольку, хотя под безнравственностью автор разумел, как и многие, всего-навсего внебрачную связь, я-то, дура, считала, что ложь и воровство — очень даже безнравственны сами по себе.

В те месяцы перед арестом Мартин Йорк мне названивал, на первых порах очень часто. Хотелось кому-то поплакать в жилетку, излиться, попричитать: «Я должен вернуть доверие к нашему делу, миссис Хокинз. Почувствовать почву под ногами. Найти новые пути. Кажется, я могу без преувеличения сказать, что ум у меня недюжинный, кое-кто даже говорит — блистательный».

А разговаривая по телефону в доме у Милли, приходилось торчать в коридоре. И там — никакого стула. Не самое подходящее место для тягучих бесед, а с моим могучим весом долго стоять на ногах просто пытка. И мне теперь во всех смыслах было трудно с ним разговаривать. Мы норовим слинять с тонущего корабля не потому, что мы крысы, ах нет, а потому, что нам, видите ли, стало неловко.

— А что он вам сделал хорошего-то? — кипела Милли. — Ни с того ни с сего — коленкой под зад, после того как вы за всех отдувались, сверхурочно работали, и жалованье он ваше зажал?

Через некоторое время он перестал звонить, может, учуял мою неловкость, кто его знает. Но в те первые недели моей праздности меня одолевали и другие коллеги, звонили насчет осиротелых книг у меня на столе,

звонили в панике, проведая, что вместо меня никого не собираются нанимать. Звонила Кэти, бухгалтер.

— Поймите, — я ей внушала, — издательству крышка. Тут только дело времени. Почему бы вам всем не подыскать себе другую работу?

— Где уж мне другую работу найти, — был ответ. — Я знаю исключительно издательство Оллсуотера. А без работы — я голову сушу в газовую духовку.

Вот этого, я чувствовала, — ну никогда она не сделает. Правда, кое-кто из уцелевших в концлагерях обрекал себя той самой смерти, которой счастливо избегнул, но это редко. Опыт Кэти ее закалил. Вдобавок — мои мысли текли дальше — никто всерьез не говорит о самоубийстве, причем с указанием способа, если к нему не примеривался; а я знала: у Кэти нет газовой духовки. Она жила в одной из десяти комнат в реконструированном доме на Голдерз-Грин; в каждой было электрическое отопление, электрическая плита и счетчик. Хозяйки не было; аренду платили агентству. Как-то раз я у Кэти ужинала. Стряпала она в многоярусном горшочке по принципу *bain marie**: в нижнем гор-

* Водяная баня (фр.).

шочке кипит вода и постепенно нагревает все остальные. С помощью этого хитроумного сооружения была создана впечатляющая еда. А духовки газовой у нее не было, не было никакой, во всем доме не было газа, и сама Кэти жаловалась на это плачевное обстоятельство. Я пообещала, что ей сообщу, если узнаю о подходящей работе. Хотя понимала — надежда маленькая, ну кому она нужна, наша Кэти.

— Но только, чтобы работа в издательстве, — уточнила Кэти решительно.

— Да почему? — удивилась я.

— Ну, когда достигнешь такого уровня, уже не хочется опускаться, — отвечала отчаянная женщина.

И главное, остальные сотрудники издательства Олсуотера, все — туда же. Айви, чей опыт в нашей конторе не дотягивал и до полутора лет, тоже сетовала:

— Я каждый день в газетах высматриваю, где требуется секретарша, но от издательств — ни одного запроса, миссис Хокинз.

Мейбл, удрученная Патрикова жена, вдруг тоже звонит:

— Миссис Хокинз, это правда, что издательство вот-вот лопнет?

— Вероятно, — отвечаю; причем тон — ледяной: а пусть не думает, что я забыла, ка-

кие неприличные сцены на почве дурацкой ревности она мне закатывала в этом самом издательстве.

— И что ж теперь Патрику прикажете делать, могу я спросить?

— Спросить вы, конечно, можете, — отвечаю, — но только у Патрика, не у меня.

— Но ему исключительно с книгами работа нужна. Он ведь сам книгу пишет, миссис Хокинз.

— Ну так скажите ему, чтобы попытал счастья на книжном складе, в книжном магазине. Извините, я побегу, у меня что-то подгорело.

И какое же это было облегчение, когда меня как-то вечером позвали к телефону, но не к тому, который внизу, в прихожей, а к тому, который в комнате у Изобел. Она ко мне постучалась:

— У меня папа на проводе, миссис Хокинз. Хочет с вами поговорить.

Он хотел пригласить меня на ужин, в «Савой», в следующую субботу, и я ответила ему почти умиленным согласием. Он сказал:

— Так я буду ждать с нетерпением, миссис Хокинз. Заезжаю за вами в семь тридцать, идет?

— В семь тридцать, мистер Ледерер.

Я тоже с нетерпением ждала. Еще немного посидела-поболтала в милой чердачной

комнате Изобел и болтала бы дальше, если б снова не завизжал телефон: видимо, кто-то из дружков.

Изобел была светлой окраски. Отец — тот седой, но совсем не старый. Мне хотелось еще кое-что о нем разузнать, но я оставила Изобел наедине с телефоном. Когда все вместе обедали в прошлое воскресенье, мы не касались в разговоре сугубо личных материй, как, скажем, его жена: в наличии, или умерла, или они в разводе? Теоретически мне бы следовало это выяснить, прежде чем принимать приглашение в ресторан. Но только теоретически. Никто, кроме полоумной Мейбл, не мог заподозрить во мне охотницу на мужиков: я была миссис Хокинз. И я стала обдумывать, что мне надеть. Для ответственных выходов были у меня черное кружевное платье и к нему черная меховая накидка. Платье следовало погладить, мех — встряхнуть, чем я и занялась. Платью было уже пять лет, но я не собиралась грабить свою заначку и, высунув язык, одолевая мороку, связанную с моим размером, рыскать в поисках нового вечернего платья только на том основании, что мне предстоит ужин в «Савое».

— А он небось богатый, миссис Хокинз, — вздохнула Милли, — гляньте, как он дочь

обеспечивает, это ж надо — и свой телефон у ней, каждый день тары-бары, и одета, как куколка. И в такси почему зря катается.

— А где его жена? — спрашиваю.

— Ой, я Изобел попытаю.

Я умоляю ее не расспрашивать Изобел, та мигом смекнет, зачем Милли понадобились эти сведения.

Милли говорит:

— Я как увидела его, ну, думаю, — какой прекрасный джентельмен. А ведь он бы вам подошел, миссис Хокинз.

— Я не могу забыть прошлое, — говорю, — я очень любила своего покойного мужа, — говорю, — и ведь такого же точно никогда не будет.

Хотя в подобных делах — кому это надо, чтобы было такое же точно.

На неделе звонит мне на нижний телефон Эмма Лой.

— Я слушаю, миссис Лой?..

— О-о, миссис Хокинз. Я хотела просто, чтобы вы знали, что я ничего против вас не имею. Как я понимаю, вы ушли из издательства Оллсуотера?

— Да, я потеряла работу.

— Я хочу, чтобы вы знали, что я лично никогда бы не стала сводить Гектора с дядей Мартина Йорка. На Гектора нельзя по-

ложиться. А насчет сценария по какой угодно моей книге, я ведь не нуждаюсь в рекламе. Кстати, я не уверена, что именно Гектор подходит для такой работы. Просто мне показалась странной та форма, в какую вы облекли свои возражения, и Гектор обиделся. Мне захотелось замолвить за него словечко.

— Он — *Pisseur de copie*, — говорю.

— Работу в издательстве, миссис Хокинз, очень трудно найти. Учтите. Я могу во многих местах вам оказать протекцию. Но вы должны, просто должны взять свои слова обратно.

— Ой, у меня что-то выкипает, миссис Лой.

А в субботу вечером я сидела в «Савое», при свечах, поела мусс из лосося — их козырное блюдо, — потягивала белое вино напротив Хью Ледерера, и оснастка моя была ничуть не хуже, чем у других.

Забыла, что мы потом заказывали: экзотическое что-то. Каким бы то ни было продовольственным ограничениям оставались считанные недели, и «Савой» как бы себе позволял упреждающий выплеск. Но я почти не распробовала их экзотики, потому что на этом самом месте Хью Ледерер наклонился ко мне через стол, прикрыл мою руку своей рукой и сказал:

— Миссис Хокинз...

...причем голос у него изменился.

А голос был приятный, с гибкими переливами. Что касается внешности — если взглянуть на него так, как тогда я смотрела, — он был хорошо сложен, не толстый, но крупный и чуть повыше меня. У него было загорелое, в морщинах, лицо — такие мне всегда приводят на ум отставных служащих из колоний и секретарей гольф-клубов.

— Миссис Хокинз, — он сказал, — я вижу, вы чуткая женщина.

Не очень-то мне это понравилось; жест показался преждевременным, слова переводили меня в стан профессиональных утешительниц, если не откровенных бандерш. Я ровно ничего не ответила, и он убрал свою руку. Тут мне его стало жалко, я подумала, что он просто стесняется. Под мусс он мне рассказал, что занимается фарфором и планирует открыть торговые сети в Чехословакии и в Баварии. Я в ответ сообщила, что люблю фарфор, а старое богемское стекло прямо-таки обожаю.

Я не успела вставить, что потеряла работу. Всего неделю назад, когда еще мы обедали с ним и с Изобел после церкви, я пела им на тему о том, как чудесно работать в издательстве.

И вот он говорит:

— Интересно, а Изобел, моей дочери, не подошла бы работа в издательстве? Она получила очень хорошее образование...

— Не так-то просто, — говорю, — устроиться на работу в издательстве. А чем она теперь занимается?

— Секретарствует. В аудиторской фирме, на Грэйс-Инн. Но мне бы хотелось, чтобы она устроилась в издательство. Она бы общалась с людьми покультурней, получше.

— Культурные люди совсем не всегда лучше других, — я ему объясняю. — Чаще бывает наоборот.

— Ну, — он говорит, — в издательстве можно познакомиться с писателями, артистами и тому подобное, правильно? С интересными людьми, я хочу сказать.

— Да, правильно. Но по большей части там приходится иметь дело с кнгами, а не с людьми.

— Я хотел бы, чтоб Изобел встречалась с людьми более высокого полета. Как вы, миссис Хокинз. Я очень ценю вашу дружбу с Изобел.

Но нас с юной Изобел связывало всего-навсего шапочное знакомство по мебелирашкам; и я поняла, что ужин в «Савое», хотя бы отчасти, затеян в пользу Изобел, чтобы устроить ее в издательство через меня.

— Я потеряла работу, — говорю, — так что ничем не могу вам помочь.

— А-а, так вы, значит, уже не работаете в той фирме, где работали на прошлой неделе?

— Уже не работаю. И вообще, не советую вашей дочери работать в издательстве. Секретаршам там мало платят, там всем мало платят.

— Но это престижная работа, правда?

Что бы мы дальше ни ели, все было невкусно. Свечи, вино, мое черное кружевное платье, белоснежные манжеты мистера Ледерера, и золотые запонки, и загорелое лицо в благородных морщинах, — все как будто изобличало меня в том, что я сюда пролезла обманным путем. Я старалась напомнить себе, что я — миссис Хокинз и плевать мне на какой-то обед в «Савое», а мистер Ледерер тем временем разливался в том смысле, что на такой престижной работе, как в издательстве, зарплата не имеет значения.

— Для Изобел жалование вообще дело десятое, — объявил он, — главное для нее — среда, я хочу, чтобы она познакомилась с кем-нибудь из литературной среды, как-никак это повыше коммерческой среды, сами понимаете, миссис Хокинз. Если вы узнаете о вакансии...

— Я тут же вас извешу, если будет что-то подходящее для Изобел, но я сама ишу работу.

Людам за соседними столиками, сидевшим парами, вчетвером, вшестером, было весело. Так я думала. Люди за соседними столиками всегда кажутся довольными при свечах, в этих ресторанах, где слишком громко не звякнет бокал, никто слишком громко слова не скажет. И мне самой, я думала, тоже полагалось бы расслабиться в атмосфере заботы и предупредительности, какой нас обволакивает дорогой ресторан. Но я совсем скисла и, главное, чувствовала, что мистер Ледерер это заметил. И в то же время, не скрою, я пожалела его: бедняжка настолько помешан на своей Изобел, что обрек себя на столь обоюдоострую роль, ради нее пригласив меня на этот ужин в «Савое».

— А почему вы так внезапно потеряли работу, миссис Хокинз?

Я ему поведала всю историю через этот элегантный стол.

— А что за французское имя? Как вы обозвали того господина? Я не разобрал.

— Pisseur de copie.

— И что это значит?

Вообще-то он понял, что это значит, но надеялся, что ошибся.

Я объяснила. И прибавила:

— В литературном мире масса таких *pis-seurs de copie*.

Он пресно улыбнулся, вконец сконфуженный. Что доставило мне некоторое удовольствие.

— Но Гектор Бартлет — главный *Pisseur* на нашей литературной сцене.

Гектора Бартлета я назвала исключительно для того, чтобы придать достоверности своему рассказу. Никак не ожидала, что ему знакомо это имя, но вдруг оказалось, знакомо.

— Гектор Бартлет. Так ведь Изобел его знает. Познакомилась на одном вечере, не то в пабе, была там с друзьями, и он ведь тоже хлопочет, старается подыскать ей работу в издательстве. Я лично с ним не знаком, но, как видно, он человек с известным влиянием. Только вы, как я понимаю, миссис Хоккинз, более в курсе дела. Бедняга, так у него в самом деле нелады с мочевым пузырем?

— Нет, я выразилась метафорически.

Лилась откуда-то танцевальная музыка. Я ела маленькие прямоугольные тостики — с устрицами, анчоусами и прочими прибабасами, которые тогда подавались в конце ужина неукоснительней, чем теперь. Мистер Ледерер выпил коньяку.

— Изобел, — он объяснял, — обожает артистов и прочее. Она ходит во всякие такие места и в пабы, где встречается эта публика и говорит про культуру. Но я вас уморил.

— А лучше бы ей ходить на концерты, в картинные галереи, на вечера поэзии, — сказала я.

Он поймал такси и настоял на том, чтоб доставить меня до порога.

— Спокойной ночи, миссис Хокинз. Было очень приятно.

— Большое вам спасибо, мистер Ледерер.

Женат ли папочка Изобел, разведен ли, вдовец или закоренелый холостяк, я выяснять не стала.

С кухни Милли навстречу мне хлынули звуки гульбы. При ближайшем рассмотрении, впрочем, оказалось, что никакая это не гульба, а полный кошмар. Вандин анонимный преследователь опять объявился, на сей раз по телефону, всего полчаса назад, в четверть двенадцатого. Ванда переполошила весь дом, и теперь вот она, рыдает, глотая чай, и тут же при ней Милли; при ней Бэзил и Ева Карлины, тихая пара из фасадной большой комнаты; Кэйт Паркер, окружная сестра милосердия; юная Изобел, сонная, деликатно гасящая рукою зевок; студент-медик Уильям Тодд, выуживающий ватку из пузырька с аспирином; одним словом, все

при ней, все в сборе. Карлины в халатах от «Либерти» выглядят нарядней, чем днем, и что-то в них есть романтическое. Меня осеняет: да они ж влюблены друг в друга. Кэйт Паркер впопыхах нацепила поверх пижамы белый комбинезон. Уильям Тодд — этот фигурирует в полосатой хлопковой пижаме; халат ему не по карману. На Ванде кимоно из лиловой тафты; на Милли — из голубого шелка. На Изобел нечто розовое, нейлоновое, зыбкое, прозрачно-переливчатое. Мое явление — черное кружевное платье, на сгибе локтя — меха — всех повергает в минутную немоту. Тут Ванда снова заводит свою слезную повесть, перемежаемую примечаниями нашего кружка. Все легли спать. И вдруг — телефонный звонок. Уильям, метнувшись вниз, снимает трубку. Мужской голос срочно требует миссис Подолак. Уильям доставил Ванду к телефону и снова стал взбираться по лестнице вверх, к себе. И тут дом был разбужен долгим, пронзительным воплем Ванды.

Пока что вследствие этого происшествия доподлинно выяснилось следующее: мучитель Ванды не из нашего дома, это раз, а во-вторых, это мужчина.

И она так-таки и не узнала голоса?

— Так-таки и не узнала, — отрезает Ванда.

— Иностранец?

— Нет.

— Ну ладно, — я говорю. — Надо звонить в полицию.

Ванда громко, протяжно вопит:

— Не-е-ет! — Потом говорит потише: — А может, я его знаю, только не помню откуда.

Тут Милли достает из буфета еще чашки и всех обносит чайком.

Прежде чем мы отправили Ванду спать, я сунула ей блокнот и велела записывать все, что ей, может быть, вспомнится насчет этого голоса и насчет того, что он сказал.

— Зачем разводить писанину, — Ванда говорит, и тут мне сдается, что в уме у ней уже смутно проклюнулось, кто он — обладатель голоса. А может быть, она даже отчасти разобралась, что к чему.

Бэзил Карлин делится с Уильямом Тоддом:

— В следующий раз он наверняка объявится собственной персоной, и тут уж — мне бы только до него добраться, я ему та-акой фингал наставлю.

— А я ему все зубы повыбью, — отзывается Уильям.

Ни тому ни другому не суждено было осуществить свои дерзновенные планы. Массу времени, огромные умственные усилия мы все вместе убили, гадая, кто же он, Вандин истязатель. Мысль еще несколько месяцев

виталя у каждого где-то у края сознания, щекоча любопытство. Но как-то все было не до того, насущные нужды, ежедневная тяготи́на и канитель заполняли сознание под завязку, до самого края, и мы уже не замечали, что творится с Вандой.

Но тогда, в ту ночь, пока еще перебивали друг друга, орали, выдвигали гипотезы, я вышла через кухонную дверь, в сад — полюбоваться огромной, полной луной, белым блеском обливающей цветочные Миллины клумбы, ее высокие, обожаемые, льнущие к стенам штокрозы, бордюры из анютиных глазок. В остальных домах на нашей улице окна чернели одно за другим, и вот — все уснуло. А я в себе чувствовала, какая дивная легкость снизошла на наш дом. Я поняла, что только после сегодняшнего звонка, как дважды два доказавшего, что среди нас — никто к страданиям Ванды непричастен, только после этого звонка, говорю, мы все поняли наконец, какая тяжесть нас пригнетала последние полтора месяца. Ну не ужас — всех по очереди подозревать. Конечно, мы с Милли исподтишка примеряли вину на всех по очереди, а теперь меня осенило, что и остальные все в доме — кроме Милли, естественно, — неизбежно подозревая друг друга, прохаживались и на мой счет.

Гектора Бартлета я уже выбросила из головы, с чего бы я стала о нем думать в связи с Вандой, пока не напала на тоненький влажный следок — какой оставляет, пожалуй, на своем неспешном ходу улитка, — ведущий от него к Ванде. Да если бы даже я все уже знала — это никак не повлияло бы на мое чувство облегчения: подлец не из нас, не из нас.

И вот кто-то, чтобы нас еще пуще развеселить, поймал в приемнике «Радио Люксембург» с их ночной танцевальной музыкой. Я слышала, как Милли закликает всех не шуметь. Слышала звяканье чашек, веселый гогот и треп — все дружно расслабились, как по молчаливому уговору. Даже Ванда перестала рыдать у себя наверху и спустилась вниз, исключительно для того, чтобы повторить — и с бóльшим нажимом, я слышала все дословно из сада — любимое свое утверждение, что ее преследователь — агент Красного Епископа (он же — всеми оплакиваемый, он же ученый, и коммунист, и, наконец, архиепископ Кентерберийский).

И вдруг выходит в сад Уильям Тодд.

— Ну и лунища! — говорит.

И он берет меня за руку, другой рукой обнимает мой неохватный стан — насколько может дотянуться, конечно, — и вот мы кру-

жим по всей лужайке под эту музыку, он — в своей полосатой хлопковой пижаме, я, миссис Хокинз, — в своем парадном черном кружевном платье.

6

В ожидании новой работы я считала, что я как бы в отпуске; я покрасила свою комнату, повесила новые шторы. Нашла работу для Кэти, причем должность бухгалтера, правда, не в издательстве, как она требовала, но в небольшой типографии на Ноттингхилл, под началом одного милого человека, знавшего о печалях издательства Оллсуотера, хотя, честно говоря, это через Милли она нашла работу. А я нашла свою через Кэйт, окружную сестру милосердия.

Когда вы ищете работу, мой вам совет — говорите об этом всем, направо и налево, и ко всем без конца приставайте, не стесняйтесь: «Так вы уж не забудьте, пожалуйста». Не обещаю, что таким манером вы непременно найдете работу, но прямо удивительно, как подходящее место можно найти через самую неожиданную публику. Если вы, предположим, хотите стать консультантом при какой-то там фирме или, скажем, ведущим

на телевидении и у вас есть все данные для этой работы, вы, рассуждая логически, станете читать соответственные рекламы в газетах, обращаться в соответственные агентства, сунетесь к знакомым, вращающимся в соответственных кругах. Но на всякий случай посвятите в свои заботы и почтальона, и механика у вас в гараже, и официанта в ресторане, портье в гостинице, зеленщика, мясника, уборщицу, всех посвятите в свои дела, вплоть до случайных попутчиков в поезде.

Прямо удивительно, сколько народу тайно верит в судьбу. Слово пущено, оно летит, и в минуту праздности бизнесмен благосклонно внимает бармену или лифтеру. Ну так вот, услышав именно о специалисте, какого он ищет, человек думает, что ему исключительно повезло, и завтра же вызывает претендента к себе. А сколько потом радости, похвалы: «Мне как раз был позарез нужен бухгалтер, и что же вы думаете? Нашел мужика — первый сорт, через бармена в “Козероге”». Люди просто обожают совпадения, судьбу, счастливый случай. Вот и надо оповещать всех-всех-всех, когда ищешь работу. Тебя не убудет; а когда ищешь работу — ты, так или иначе, блуждаешь впотьмах.

Ну вот, так уж получилось, что Миллина соседка, даже подруга, с которой они ежене-

дельно, по четвергам, под вечер парочкой отправлялись играть в бинго, узнала от Милли, что мне без конца названивает какая-то Кэти, бухгалтер из моей бывшей конторы, прямо покоя мне не дает, и все она ищет новую работу в издательстве. Тут миссис Туинни и говорит, что, мол, мистер Туинни как раз ставит стеллаж одному директору издательства. Вообще-то она имела в виду — не издательства, а типографии, но ничего, и так все прекрасно сошлось. Милли через несколько дней с трогательным волнением передает весь разговор мне; а мистер Туинни меж тем уже договорился насчет интервью для Кэти.

— Вот интересно, он как раз бухгалтера ищет, — удивлялась Милли, — и не первого попавшего, не с улицы, а чтобы можно доверять, чтобы с рекомендацией. Ведь это должность какая, с деньгами дело иметь.

Ну и я потащила с Кэти на автобусе в Ноттинг-хилл. Кэти сначала взбрыкнула, не нужна, мол, ей такая работа, — на том основании, что типография на Уэст, 8 и издательство на Уэст, 1, видите ли, не одно и то же. И тогда я с ней встретила возле метро «Саут-Кенсингтон», в полшестого, в кафе-эспрессо — их тогда много развелось в Лондоне. Она еще работала в издательстве Оллсуоте-

ра, но понимала, что скоро ему конец, — ей ли не понимать, имея дело с финансами. Она глянула на меня поверх своего капучино — морщинистое лицо, крашенные остатки волос; глянула сквозь свои ужасные линзы и объявила:

— Суну голову в газовую духовку.

Я ни на секунду не допускала, что ей достанется эта должность. Но подумала: чем черт не шутит, — и поволокла ее на это самое интервью, и должность досталась ей. И единственная причина, которой можно объяснить, почему за Кэти так ухватились, кроме честности — за честность я поручилась в простеньком письмеце (заменившем цветистую рекомендацию Мартина Йорка, с которой Кэти недалеко бы уехала, ибо расплата за мошенничество уже надвигалась, уже нависла) — единственная причина, я говорю, было некое суеверие мистера Уэллса, директора типографии. Я дожидалась Кэти в шумной мастерской, на стуле, с которого в мою честь обмахнули пушистую пыль. Мистер Уэллс и Кэти вышли вместе, оба улыбались.

— Удивительное совпадение, — восклицал мистер Уэллс. — Человек у вас ставит стеллаж, вы болтаете за чашечкой кофе, и он случайно упоминает...

Думаю, он потом всех и каждого потчевал этой историей. Кэти проработала в типогра-

фии целых двенадцать лет, вплоть до смерти мистера Уэллса.

Ну а для Патрика я нашла работу и все походя, можно сказать, играючи: хозяин книжной лавки на Чаринг-Кросс-роуд спросил меня как-то, пока я рылась среди подержанных книг, не знаю ли я, случайно, молодого человека, который мог бы и за лавкой приглядеть, и книги продавать, а еще упаковать и отправить заказанное по почте. Но тут мне вспоминается, как Мейбл, супруга, после этого стала трезвонить мне каждый день, а то и по нескольку раз на дню, перемежая бурные уверения в благодарности столь же бурными попреками. То я — изумительная женщина, я такое великое дело сделала для ее Патрика, ведь ему, главное, теперь и платят больше; а то я — жирная старая блядь, все не уймусь никак, все норовлю всеми правдами и неправдами его затащить в постель. Ради Патрика, пока могла, я это терпела. Почти не слушая ее телефонного голоса, я со своими ответами иногда попадала впросак:

— Это очень приятно, Мейбл, — сказала однажды, когда та, как потом оказалось, заявила, что я «делаю *это* вверх тормашками» с ее супругом.

Милли, если, взяв трубку, нарывалась на Мейбл, грозилась заявить на нее в полицию

и наотрез отказывалась звать меня к телефону. Я отправилась в книжную лавку, к Патрику:

— Патрик, надо сводить Мейбл к врачу.

— Да не пойдет она, — он ответил, чуть не плача.

В те дни моей непрошеной праздности я пристрастилась к долгим пешим прогулкам, независимо от погоды, и открывала для себя сцены и виды Лондона, недоступные для офисных служащих. Особенно живо помню один такой день: погода явно хорошая, ясная, в Ридженс-парке снимают кино, и требуемый сюжетом, но искусственный ливень вдруг стеной обрушивается на актеров.

— С этими звонками вашей Мейбл, с этими Вандиными анонимными письмами у нас теперь не дом, а кошмар, — сказала Милли. — Пакуйте вещички, миссис Хокинз. Я вас прокачу на две недельки домой.

«Домой» у Милли значило в Корк. Я, не задумываясь, согласилась и все подаренные мне дни каникул нежилась под милым дождиком вперемешку с солнечной прелестью Южной Ирландии, вдали от буйства обманного Лондона, среди людей, которые, почтиительно признавая культурную жизнь, никогда в нее не суются. Старшая Миллина дочь жила с мужем в новом доме на окраине Кор-

ка, и каждое утро мы пускались оттуда — исследовать очередную зеленую зону. А ночью я долго-долго лежала без сна, и в ушах у меня журчали негромкие голоса, занимательные рассказы, и перед глазами плыла и плыла листва. Иногда я вспоминала про Лондон и, спохватившись, задавалась вопросом, куда же теперь меня забросит судьба, и нет-нет, а в такой бесценный, бессонный час я вдруг задумывалась о Ванде. И теперь мысли у меня прояснились. Я понимала: она темнит, не в таком она полном неведении относительно своего врага, как утверждает. После того анонимного ночного звонка она якобы получила еще письмо, но никому его не показывала. Из Вандиных слов как-то следовало, что враг сменил пластинку. Уже не страшает ее подходным налогом, что-то новенькое задумал. Насчет телефонного звонка она, по-моему, что-то скрывала. Откуда я сделала вывод, что аноним, как видно, пронюхал, что нехитрую задачку насчет налогов ей удалось решить. Но Ванда по-прежнему ходила грустная, ужасно расстроенная. Она всплакнула, когда я зашла к ней проститься перед отъездом в Ирландию, и мне показалось, что она хочет со мной поговорить по душам; но — она подумала-подумала и промолчала. Я не настаивала. Я не слишком

жаждала ее откровений, неразрешимые чужие заботы и так достали меня. Я была молодая, всего двадцать лет с хвостом, а все вокруг, хоть убей, обращались со мной, как с матерой богиней мудрости, что ли. Как-то ночью, когда я думала о собственном будущем, сон застиг меня врасплох, и прокрался в него странный, непрощенный образ Миллиного лунного сада той ночью, после анонимного звонка Ванде, и я стала думать про Уильяма Тодда и как он тогда меня кружил и кружил по саду.

Когда мы вернулись в Лондон, нас поджидала одна новость, кстати, не очень для нас существенная: в соседнем доме сменился состав обитателей. Жена Марки испарилась вместе с младенцем, их сменила другая молодая особа, тоже «моя жена», на сей раз уже с двумя детьми и с младшей сестрой; однако и прежняя свояченица никуда не делась: интересная комбинация; Милли долго рассуждала о таком обороте дела.

Джон Тули, директор крупнейшего издательства «Макинтош и Тули», заглянув в свою записную книжку, сказал:

— Предлагаю приступить с понедельника, миссис Хокинз, то есть с одиннадцатого числа. Идет?

Я сказала, что мне это как раз подойдет. Будет еще целая неделя свободная.

— Вы нас застанете на пике активности, — он прибавил, не отрывая глаз от записной книжки, — двенадцатого октября, на другой день, во вторник, — полнолуние, и ожидается заметное передвижение авторов.

— И вы замечаете влияние луны на ваших авторов, мистер Тули? — спросила я.

— О, еще бы, поверьте, — ответил он, причем, совершенно серьезно. — В полнолуние замечается существенное их передвижение отсюда вон.

Эти слова вместе с убранством кабинета меня чрезвычайно обрадовали: сразу я поняла, что не соскучусь на новой службе.

Я не очень рассчитывала, что меня примут. Я догадывалась, что многие опытейшие люди обоего пола метят на эту должность, люди с рекомендациями, аттестациями, диссертациями и заслугами, с наградами и грамотами — и через некоторое время догадка моя подтвердилась. Многие известные обозреватели, литературные критики, сотрудники Би-би-си претендовали на это место у Макинтоша и Тули и сюда являлись на интервью. И только потом, потом уже я раскусила, почему всем этим светилам здесь предпочли меня.

Я получила эту должность в «Макинтоше и Тули» в октябре, благодаря Кэйт, которая весь сентябрь ухаживала за одной старушкой, свойственницей сэра Алека Тули. Мартин Йорк был тогда уже арестован за мошенничество, уже осужден, уже взят на поруки и сдан в частный дурдом на попечение врачей.

Скандал в издательском мире назрел, крах издательства Оллсуотера и прочих отраслей деятельности Мартина сделался близким и неизбежным. И многим предстояло на этом деле существенно погореть.

Развлекая пациентку, к которой она искренне привязалась, Кэйт ежедневно ей скармливала выдержки из «Таймс» и, подозреваю, не без своих излюбленных наиздательных примечаний. И, по словам Кэйт, известие об аресте Мартина Йорка с перечислением его якобы приспешников (как выражалась газета) так взволновало старушку, что Кэйт захотелось вдобавок ей рассказать, что, мол, есть у нее одна знакомая, она работала редактором в этом самом издательстве Оллсуотера и теперь сидит без работы, бедняжка.

С немыслимой быстротой известие дошло до сэра Алека Тули. А болящая родственница была, как я понимаю, уж очень бедная родственница, иначе для нее бы наняли

частную сиделку, не Кэйт. И, подозреваю, столь точные, чуть ли не из первых рук обретенные сведения о происходящем в издательстве Мартина Йорка стали подношением бедной родственницы богатому сэру Алеку, а уж тот, в свою очередь, подстрекаемый любопытством, пригласил меня на интервью. Так я воссоздаю причины, приведшие к этому приглашению, потому что хоть вакансия редактора именно тогда подоспела, но и соискателей нахлынула тьма, вдобавок с квалификацией, какая мне и не снилась. Очевидно, такое сложное хитросплетение обстоятельств и привело меня к этому интервью. Да, но тот факт, что мне на самом деле досталась эта работа, явно объясняется чем-то другим. Кэйт меня честно предупредила: «Там и люди-то не такие, каких каждый день встретишь, миссис Хокинз. Там магистрами и докторами, всякими графами-лордами помыкают, как распоследней швалью».

Но даже и с поправкой на форму, в какую Кэйт облакала свои соображения, меня ее слова повергли в еще большее недоумение: ну почему, почему именно мне досталась эта работа, вот вопрос. И когда-а еще на него нашелся ответ.

Беседовали со мной по очереди два директора. Джон Тули из «Макинтоша и Ту-

ли», сын сэра Алека Тули (из Макинтошей никого не осталось в живых), Джон Тули, говорю, со всеми своими вывихами, был вторым. А сначала меня ввели в просторный, усталанный коврами кабинет сэра Алека. Я дико нервничала и многих деталей сперва не заметила. Пожилой человек. Странная манера говорить, которую я упрятала в дальнем углу памяти с этикеткой «скулеж». Мои мысли были слишком заняты собеседованием, тем, могу ли я рассчитывать на работу в таком роскошном издательстве, как «Макинтош и Тули», а потому я вполуха слушала сэра Алека.

— Так вы, миссис Хокинз, предполагаю, действительно работали в издательстве Оллсуотера? Интересный, предполагаю, опыт, — так он вывел меня из задумчивости.

Я согласилась с этим предположением.

— И как вы отнеслись к эскападам Мартина Йорка?

Я ответила, что, по-моему, Мартин Йорк явно не в себе, если доказано, что он подделывал документы, даже не удосуживаясь скрывать собственный почерк.

— Но, — прибавила я, — в издательстве Оллсуотера я занималась исключительно книгами.

— Ну да, конечно, ах книги, книги, — откликнулся почтенный издатель. — Да, из на-

ших сотрудников многие увлекаются книгами. Один вышестоящий коллега на совещании как раз на днях говорил, что, возможно, попробует вернуться к своей первой любви, к книгам. Но вот скажите мне, миссис Хокинз....

Мне уже стало казаться, что я, по ошибке, забрела не туда. Томатный суп, женскую одежду, стиральные машины — да что тут производят, в конце-то концов?

Но сэр Алек продолжал:

— ...Но вот скажите-ка мне — а я уверен, вы это знаете, — не бывало ли споров, скандалов на собраниях акционеров?

Я ответила, что на собрания акционеров не была вхожа, но, если верить газетам, там речь шла об огромных суммах.

— Еще бы, миссис Хокинз, — отмывание, всевозможные схемы. Я вполне понимаю, что вы хотите держаться от всего этого подальше, хотя, могу вас уверить, все, что вы скажете в этих четырех стенах, останется исключительно между нами. Итак, Мартин Йорк, предположим, безумен, и я, честно говоря, этого не исключаю, но расскажите мне лучше про Теда Оллсуотера. Он, наверно, принял все это близко к сердцу?

Тем временем я кое-что еще разглядела. Из серебряной рамы на письменном столе

глядела дама двадцатых годов: придворный наряд, веер из страусовых перьев.

Сэр Алек был тощий, седой, и этот его голос до странности соответствовал внешности. Голос был, как тонкий дымок, веющий над сожженной листвой, прибитой пучком лаванды. Усилие, с каким он выдавливал из себя этот голос, не могло объясняться никакой усталостью, никакой скукой; нет, он с живейшим интересом меня выпрашивал; ну а мне работа и вправду была нужна, и меня уже коробило от его этих штук, от ломанья, от того, что я во всеоружии явилась на серьезное интервью, а надо мной так глупо посмеиваются. И главное, я в такси прикатила. Я всегда езжу на интервью в такси.

— Я поняла так, — я сказала, — что вам требуется редактор.

— Да, — он вздохнул, — нам и в самом деле, по-моему, требуется редактор. — Он нажал кнопку у себя на столе и сказал по внутреннему: — Джон, ты не зайдешь? У меня тут дама, на место редактора, она, по-моему, нам очень подходит. Да, прямо сейчас, пожалуйста.

Он поднялся, я тоже. Не успел он меня проводить до двери, как она распахнулась, и в кабинет шагнул Джон Тули. Сэр Алек сунул мне вялую руку и поспешно ее отдернул после рукопожатия.

— Джон, это миссис Хокинз. — Потом, обернувшись ко мне, он выдохнул: — Надеюсь, вы не верите, что Шекспир сам написал все эти пьесы. Доказательства не выдерживают независимого расследования. Он небось сейчас тайком ухмыляется на том свете, если, естественно, таковой существует, глядя сверху на то, что творится в его Стратфорде-на-Эйвоне.

Я проследовала за Джоном Тули по коврам коридора, мимо стен, мимо «Очерков Боза»*, за которыми прятался Диккенс, и вошла вслед за ним уже не в такой просторный, зато роскошно обшитый дубовыми панелями кабинет.

Джон Тули был с виду покрепче отца и тем не менее похож на него, хотя сначала и показался мне косоглазым, но скоро я разглядела, что он не косит, а так только кажется из-за носа, чуть-чуть отклонившегося от вертикали. В отличие от отца, одет он был небрежно: спортивная куртка, коричневые вельветовые штаны — тогда не полагалось так одеваться на службу. И вдобавок ко всему этому он нацепил уж и вовсе в те времена неприемлемый, ну о-очень зеленый галстук.

* Первые свои скетчи (1833–1836) Диккенс сам иллюстрировал, скрываясь за семейным прозвищем своего брата Боза.

Мало ли, я подумала, может, зато он интересный человек.

Для начала он принялся меня разглядывать, пристально, тщательно, в упор, совсем не так, как смотрит мужчина на женщину, а так, будто я подходящий экземпляр для какой-то не доступной моему пониманию цели. Я чувствовала себя просто голой, ужасно.

— Итак, вы работали на самозваного финансового гения, Мартина Йорка? — спросил он.

— Я была редактором в издательстве. Там издавались кое-какие хорошие книги, — ответила я.

— Ну вот, стало быть, вы умеете читать корректуры, общаться с авторами, *et cetera*, *et cetera*.

— Да, — я сказала туманно, слегка озадаченная тем, что бы такое могло прятаться за этими «*et cetera*».

Мне захотелось поскорей смыться; я уже не сомневалась, что меня вызвали исключительно из любопытства, что им нужен, конечно, кто-то, венчаный лаврами, или на худой конец почетными степенями, грамотами, дипломами, ну, я не знаю.

Тоненькая высокая девушка внесла поднос; на нем сияли серебряный заварочный чайник и тонкий фарфор.

— Спасибо, Абигейл, познакомьтесь, это миссис Хокинз, скоро она к нам присоединится, а это у нас Абигейл де Мордель-Бром-Бильяр.

И тут-то я поняла, что принята на работу. Мисс де Мордель-Бром-Бильяр осенила меня летучей улыбкой через плечо, уже уплывающая к двери.

— Абигейл, — сообщил мне Джон Тули, когда она скрылась, — Дева.

От испуга, вызванного этой информацией, я постепенно оправлялась по мере того, как он распространялся о своих астральных штудиях; в заключение он обещал составить мой полный гороскоп, как только я сообщу ему точный час и минуту моего рождения, плюс такие же точные данные о рождении обоих моих родителей. Знать час рождения, он объяснил, недостаточно. Требуются минуты. Ну а кончил он собеседование словами, которые я уже цитировала: «...предлагаю приступить с понедельника... двенадцатого октября, на другой день, во вторник... полнолуние... передвижение авторов».

Джон Тули, на котором лежала обязанность набирать ответственный персонал, всегда предпочитал — по-моему, стихийно и бес-

сознательно — тех, кто хоть в чем-то ущербен, как-то не очень нормален.

Из-за того, что в офисе, пусть и без особого толку, роились секретарши, счетоводы, машинистки — как нарочно, сплошь на самый обыкновенный вкус и самой обыкновенной наружности, — я далеко не сразу заметила, что все, кто поответственной, кому доверено объясняться с литагентами, тем более с авторами, были зато в чем-нибудь, да ущербны, в чем-нибудь, да уязвимы, физически, психически, уж и не знаю, каким еще манером. Прозревала я медленно и постепенно, так как эти мои коллеги вызывали во мне самую живую симпатию. И только тогда, когда я уже задалась вопросом, почему именно, пусть и бессознательно, их облюбовали на эти должности, мне пришлось-таки призадуматься и над тем, а что же со мной-то «не так».

Процесс постепенного просветления занял у меня несколько месяцев. С самого начала я не сомневалась, что в офисе верховодят приятнейшие из людей. Но почему-то, так или иначе, их приходилось жалеть, к ним приспосабливаться, приходилось мяться и жаться в их милой среде. Спорить с ними, раздражаться, высматривать в них изъяны было исключительно трудно. Я и не про-

бовала. А кто пробовал, по большей части посторонние — авторы, переплетчики, наборщики, литагенты, — неизбежно выглядели невежами и грубиянами и, не исключено, даже в собственных глазах.

Среди ведущих сотрудников был очаровательный пятидесятилетний доктор, лишившийся медицинской практики; менеджер с узким, бледным ликом и с чудовишным заиканием, говоривший милейшие вещи, если наконец, слово за слово, ему вдруг удавалось-таки сложить фразу; у добродушной дочки викария, слегка странноватой юной особы, редактировавшей со мною на пару, лицо было бесповоротно испорчено жутким портвейно-багряным родимым пятном во всю правую щеку. Глава производственного отдела, предельно нерасторопный, зато удивительно остроумный, страдал язвой двенадцатиперстной кишки, которую героически терпел, и вдобавок прихрамывал из-за полученной на войне раны. Делившая с Джоном Тули заботы и обязанности директора, обладавшая лишь чуть-чуть меньшими полномочиями, тоже была хороша. Мы редко ее видели. Чаше она трудилась за сценой, но как заявится — распутать особенно хитрое дело, выбить выгодный договор на бестселлер из могущественного агента, — как она

заявится, говорю, ее встречала общая трепетность с придыханием; хоть и тонкая деловая дама, но была она дочь знаменитого серийного убицы начала тридцатых, да и самой пальца в рот не клади; папашу-то вздернули, а этой — попробуй хоть слово поперек вякни.

А еще был связанный с издательством и частенько представленный воочию махонький, несколько потасканный фотограф, сам себя называвший Владимиром из русского знатного рода; говорили, он поколачивает мать. Этот Владимир получал весьма скромное жалованье от «Макинтоша и Тули» за то, что умел запечатлеть авторов в «интересном», то есть в скабрёзном, дурацком виде. Авторы, сдуру соглашавшиеся ему позировать, так потом и красовались у себя на обложках. Отвергнутые фотографии Владимир сбывал в подпольную лавку в Сохо за небольшую мзду, пополняя крохи, которые он извлекал из «Макинтоша и Тули» и еще из кое-каких издателей, тоже считавших, что писатели все зазнались и пора сбить с них спесь. Владимира ожидала печальная участь: через три года, в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом он умер от лейкемии, и вот тогда-то выяснилось, что никакой он не Владимир княжеской крови, а всего-навсего Си-

рил Биггз из Уондзуорда. Но тогда, в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом, он еще цвел и был желанным союзником «Макинтоша и Тули». По-моему, объявись вдруг потомок Джека-Потрошителя, они бы буквально с руками его оторвали. Таков был их стиль, способ ведения дел — в точности как немощь, хромота и уродство на Дальнем Востоке до сих пор остаются профессией и образом жизни.

Джон Тули сам являл оправдание избранной им стратегии. Вегетарианец, графолог, астролог, все свои печали и невзгоды он сваливал на звезды, взошедшие не под тем знаком, не при той фазе луны. Корень всех болезней — мясоедение, и врачуются они овощной диетой плюс радиоэлектроника. Это последнее средство тогда было названо, да и сейчас остается известно как «бокс». У Джона Тули был бокс, и он научил свою секретаршу, очаровательную Абигейл де Мордель-Бром-Бильяр с ним управляться. Джон Тули объявил ее высокоталантливым боксоведом и боксооператором, верней, радионикооператором, как он это именовал; радионикой, да еще приношением на подносе утреннего кофе и вечернего чая (приготавливаемого другими) ее обязанности ограничивались. В радионику, как на грех, Абигейл не верила.

Считала, что бокс — просто липа, и больше ничего. Но почему же не делать работу, если это легко и весело, да еще тебе деньги платят.

Этот бокс был размером с дорожный несесер. Модель Джона Тули, из самых ранних, как откроешь ее, подмигивала тебе натыканными в ряд разноцветными лампочками и еще демонстрировала несколько кнопок. Было особое место, где можно расположить прядку волос, мазок крови, и таким-то образом предполагалось излечивать тех, у кого сострижены эти волосы, взята эта кровь. Я описываю мое впечатление от первого бокса, который Абигейл мне показывала и объясняла с какой-то неожиданной серьезностью. Мне показалось, однако, что устройство настолько же действенно, как игрушечный телефон, на котором ребенок, копируя взрослых, набирает номер, разговаривает, но, уж конечно, не получает ответа. Так выглядел бокс на мой первый взгляд и, могу сказать, на последний (прямо на днях), уже после внимательного ознакомления с литературой о радионике: усовершенствованный и усложненный, этот аппарат показался мне таким же ненужным. Но тогда, давно, когда Абигейл мне показывала свой бокс, я даже обрадовалась его никчемности, поскольку (как я сра-

зу ей выложила), если бы этот бокс мог творить добро, он бы и зло мог творить. «Элементарная логика», — я сказала.

— Ах! — вскрикнула Абигейл де Мордель-Бром-Бильяр. — Как это верно! Но только вы при Джоне ничего такого не скажите. Он считает, что с помощью бокса просто невозможно сделать что-то плохое. И ведь на самом деле, он никому не делает зла, правда же?

Она все-таки оказалась очень милой девушкой несмотря на фамилию. Я и сама не думала, что этот самый бокс может кому-то причинить зло, добро, что угодно. Ну да Бог с ним, куда больше меня интересовало, как, в представлении Джона Тули, Абигейл должна была применять этот бокс. В кого, по воле Джона Тули, она метила, на кого ей следовало повлиять, кого излечить?

— Это, в общем, секрет, — отвечала она, покраснев.

Странные воспоминания, оставшиеся у меня от издательства «Макинтош и Тули», подернуты тем не менее поволокой нежности. Мне просто не стоило, сама понимаю, так долго торчать там, где благоденствие фирмы обуславливалось, во-первых, благоденствием сотрудников и только уже во-вторых — принципами. Принципы здесь вообще были

в загоне; никто их не жаловал; правда, заведение значительно отличалось от издательства Оллсуотера тем, главным образом, что было удачливо и процветало. Однако сам по себе тот факт, что вы умеете заранее хитро прикинуть тираж и ловко сбыть свои книги, еще не доказывает, что вы человек принципиальный и нравственный. И во многом, во многом бедный Мартин Йорк был куда принципиальней, чем оба Тули.

И теперь еще часто в часы моей блаженной бессонницы мне вспоминается «Макинтош и Тули», кабинеты с высоченными потолками, которые теперь (через восемнадцать лет, когда «Макинтош и Тули» слились с другой фирмой и съехали) сплошь перелопатили, осовременили и даже фасад перекрасили, так что я едва узнала его, проходя мимо.

Снова и снова, бессонными ночами, широко открытыми, так сказать, очами вижу свой собственный кабинет, тесный, глядевший в узкую бездну двора и оттого полутемный; но как же приятно было наконец обособиться в четырех стенах, на ступеньку поднявшись по общественной лестнице. Там я принимала новых и честолюбивых писателей, а точнее — авторов; поскольку все, кто печатался в «Макинтоше и Тули», делились

на две категории: Авторы и Имена. Имена — были те несколько признанных здравствующих писателей в списке издательства, которых пасла та самая Энн Клу, чей папаша, хоть и абсолютно умалишенный, кончил, однако же, виселицей.

Вторую редакторшу издательства, отвлеченного и робкого вида, ту, с портвейно-багряным пятном на щеке, звали Конни; фамилии, хоть убей, не упомню. Странно — сама эта ее отвлеченность, зыбкость будто говорила: «Забудь меня»; она жила как бы в скобках; но ее-то я как раз не забыла, вот только фамилию. И даже родимое пятно на щеке как-то стерлось, я совсем перестала его замечать, попривыкла; так бывает с телесными повреждениями.

Кабинет Конни был рядом с моим. Ей доставляли рукописи новичков, она их бегло проглядывала и, если они не кишели грамматическими ошибками, доверяла их судьбу рецензентам, по большей части оттрубившим свое на службе, безденежным, одиноким людям, которые жили за городом, могли похвастаться кое-какой образованностью, радовались тому, что можно чем-то заняться, а заодно подработать, и якобы собой олицетворяли — довольно, впрочем, мифического — среднего читателя. Они осыпали Конни

градом посланий. Их пространные отзывы обыкновенно не сулили добра, начинаясь с места в карьер приблизительно так: «“Угловое кафе” даже с большой натяжкой не назовешь шедевром...» или «Данный роман невозможно рекомендовать. Мерзопакостность иных сцен никак не искупается — довольно спорной, впрочем, — значительностью сюжета». Далее следовал пересказ, разнузданно растянувшийся на четырех-пяти страницах. Заключал такую рецензию неременный абзац, содержащий одну только фразу и вставленный, очевидно, для красоты, например: «Нет, и еще раз нет вашему роману, мистер Трэверз», а то и похлеще: «Хорошо, если ноги автора отныне не будет в этом издательстве». Горькие эти пилюли частенько подслащались сопроводительной записочкой, лично для Конни, осведомлявшей ее о погоде в Шропшире, о произрастании роз и гераней, племянников и племянниц, о состоянии больной матери. Конни отвечала этим эпистолярным друзьям весело и пространно, после того как отправит в отдел упаковки обреченный манускрипт с прилагаемым роковым бланком о пересылке его исконному обладателю. Не пропал ли навеки для читающей публики вследствие такого отбора и некий шедевр — только Богу из-

вестно. И не один, я думаю, начинающий автор тех лет до сих пор хранит в ящике письменного стола растрепанную машинопись, наткнувшуюся в свое время на такой отворот поворот.

В обязанность Конни входило вдобавок чтение корректур, и вот этого она — ну начисто не умела. Переводя правку автора в корректуру, Конни пропускала в среднем по три штуки на страницу, а когда и вписывала исправления, то безнадежно их переврав. Тут следует учесть, что в те поры автору приходилось читать сперва гранки, потом еще верстку. И потому, только уж когда книга наконец выходила в свет, в ней зияли промахи Конни, правда, не особенно задевая ее за живое. Письма авторов с плачем об изувеченных текстах она совала под подушечку кресла, чтоб разобраться на досуге; бешеным телефонным голосам робко предлагала написать письмо, перечислить там все свои жалобы, и в новом издании их, конечно, учтут. Но если автор продолжал свирепствовать и добивался-таки свидания с глазу на глаз, при первом же взгляде на Конни его так ошарашивало несчастное багровеющее пятно, что ярость тотчас улетучивалась и стороны сразу договаривались полюбовно. На Конни невозможно было сердиться; прозрачный ее

голосок убеждал, что все будет хорошо, только не волнуйтесь, пожалуйста, при переиздании мы все огрехи исправим. А поскольку переиздание почти никогда не светило, риск Конни, признаемся, был невелик.

Иной раз чей-нибудь агент через голову Конни плакался по начальству, она-де профукала, например, аккуратно исправленную автором опечатку и, в довершение бед, на самой первой странице, так что невинный «гриб» с нележкой руки наборщика, увы, превратился в «гроб», безнадежно озадачив читателей небольшого рассказа. Подобные недоразумения улаживались посредством дорожущего ланча, который закатывал для агента легкомысленный Колин Шу, презрев предписания врачей; но каковы бы ни были последствия этого обжорства во имя мира, ни до ушей, ни до письменного стола Конни никогда ничего не доходило. «Мы не вправе травмировать наших сотрудников», — не уставал повторять очаровательный Колин Шу. Чаевничали и попивали кофеек мы с Конни обычно вместе, то у нее в кабинете, то у меня. Мне полагалось отбирать у нее те немногие рукописи, из которых, хоть в это слабо верилось, можно было, с грехом пополам, состряпать годную для печати книгу, или те, авторов которых можно

было вразумить. Весьма сомнительное занятие, как формулировал Колин Шу. На увещевание авторов всегда бросали меня. Колин при этом говорил, что мне не завидует, мило прибавляя один из своих излюбленных афоризмов: «Лучший автор — это покойный автор». В самом деле, нам бы заметно полегчало, имей мы дело только с книгами и только с покойниками. В «Макинтоше и Тули» хранился заветный список почивших писателей, не доставлявших особой мороки сотрудникам (разве что через наследников и душеприказчиков, которых тоже приходилось водить в ресторан, если иначе никак не удавалось унять).

Я была в курсе этих соображений, хоть мне самой как раз не хватало в работе живых контактов.

— Книги не дергаются. Писатели дергаются, — один из афоризмов Колина Шу. — И всё-то они принимают близко к сердцу, — ворчал Колин Шу. — Еще не встречал писателя, который бы не принимал близко к сердцу свою писанину.

А я считала, что так писателю и положено; и в то же время эта недурно пущенная сомнительная премудрость превращала нас, сотрудников фирмы, в сплоченную клику —

подловатое чувство, мне не полагалось бы его разделять, но я разделяла.

И все-таки я с удовольствием встречалась со своими авторами, хотя в большинстве своем они были отпетые *pisseurs de copie*.

— В общем-то, — объявил Колин Шу, — скажи спасибо, что тебе приходится иметь дело с авторами, а не с Именами.

А сам при этом сияет, как медный таз, поскольку ему предстоит вести в ресторан не кого-нибудь, а знаменитую Эмму Лой, намеркшую, что она, не исключено, отдаст свой следующий роман «Макинтошу и Тули». Колин Шу невероятно раздувал свою роль: как же, такое имя, такое имя. Я от души надеялась, что все его усилия кончатся пшиком и Эмма Лой осчастливит своей книгой какое-то другое издательство.

Новичков с амбициями я приглашала к себе. Кое с кем я уже переписывалась, работая у Олсуотера. А теперь завела маленькую электрическую плитку и чайник, поставила в углу кабинета и с удовольствием угощала каждого гостя кофе с печеньем по утрам и чаем с печеньем под вечер, обходясь без машинисток, обычно на всю контору готовивших чай и кофе. Воображаю, как моя могучая стать подавляла новичка, когда я его потчевала кофе, чаем, советами. Я толь-

ко сейчас осознала, насколько зеленые были девочки и мальчики, ходившие ко мне поодиночке два-три раза на неделе и, сидя в кресле, которое я завела для таких okazji, поочередно выслушивавшие мои приговоры их манускриптам. Очень, очень немногим предстояло литературное поприще, зато многие знали все ходы и выходы так, что это было выше моего понимания, а иной раз я даже терялась, беседуя с таким стреляным воробьем, наделенным тем не менее весьма скромным талантом. На советы я никогда не скупилась; но одно дело — дать человеку совет, и совсем другое — уговорить, чтобы тот его принял. В «Макинтоше и Тули» на этом этапе мой объем и вес придавали моим советам весомости — да и то не всегда.

Помню отдельные сцены и помню, как я — позже, позже — набредала на них, набум перебирая воспоминанья, помню, например, как лет десять назад лежу в бессонной тьме и видится мне встреча в «Макинтоше и Тули» с одним молодым человеком, а он красавец писанный, я таких еще в жизни не видывала, и настрочил длиннющий роман: такой, знаете, взгляд и нечто, обо всем понемногу и в частности ни о чем. Роман доказывал только одно: автор рвется творить, вот я ему и сказала, что эта книга нам не

подходит, но пусть он попробует сочинить другую. Дальше все расплывается, меркнет и мутится, я помню только, что он пустился в долгие рассуждения, ссылаясь на прославленные толстые романы, в которых речь идет обо всем сразу и в частности ни о чем. Да читала ли я «Поминки по Финнегану»?

Пришлось мне сознаться, что не читала, во всяком случае, от корки до корки. В то время я еще не знала, что мало кому удавалось все это одолеть до конца.

Он говорил битый час. Снизолел до моего кофе с печеньем и опять — все говорит, говорит. Мне хотелось бы поподробней воспроизвести его речи, но, увы, все это было намного выше моего понимания. А «Будденброков» Томаса Манна я хоть читала?

Я их не читала, но кое-что слышала. Избегая расспросов, я ловко вставляю:

— Но ведь это кое о чем, в частности.

Он объявляет, что там ничего и нет, кроме нудных подробностей. Но Пруста-то я читала?

Да, Пруста-то я читала.

— И вы утверждаете, что это о чем-то, в частности?

Часы пробили полдень. *И послан был Ангел от Бога...*

— Скорей обо всем, в частности, вы согласны?

Слово стало плотью...

— Так ведь и мой роман обо всем, в частности.

Радуйся, Благодатная...

— Верно. Но это не Пруст.

— Так вам второго Пруста подавай? Одного вам мало?

Уж и не помню, как я его спровадила; помню только, как он уходил. Помню, дело было первого ноября, одна вечерняя газета воспроизвела портрет Черчилля работы Грэма Сазерленда, который премьеру поднесли обе палаты парламента, и уже потом, потом, уже после смерти Черчилля вдова благоговейно его истребила*, а я вот ночью лежу и думаю — зачем это она? И еще я думаю, интересно, а что случилось с тем юным красавцем и с его огромным романом, до того огромным, что пришлось разделить его на две порции и таким манером, зажав обоими локтями, уносить, исчезая в дверях.

*Черчилль (1874–1965) премьер министр Великобритании, лауреат Нобелевской премии по литературе, родился 30 ноября, и в 1954 г. ему исполнилось 80 лет, так что поднесение портрета и воспроизведение его в газете закономерно, но именно к юбилею, а не за месяц до него. Автор портрета Грэм Сазерленд (1903–1980) — довольно известный художник.

Ну а вообще-то мне пришлось понадавать советов буквально куче писателей, и по крайней мере два раза они принесли плоды. Так что дай-ка я здесь их воспроизведу, и, учтите, совершенно бесплатно. Оговорюсь, эти советы приносили пользу только тем авторам, которые обладают фантазией, и вот хочется им писать, руки чешутся, а с чего начать — неизвестно.

— Вы пишете письмо другу, — как-то так я подступалась к делу, — и это близкий, это дорогой друг, реальный, а еще лучше вы его выдумайте и закрепите в уме. Письмо сугубо личное, нет-нет, не открытое; без зажатости, без робости вплоть до последнего слова, как будто оно и не предназначается для печати, а так, чтобы ваш истинный друг им зачитался и сразу принялся ждать, когда еще придет от вас такое же увлекательное письмо. Ну вот, и вы ничего не пишете о ваших отношениях с другом, зачем? — они подразумеваются, они вынесены за скобки. Вы просто поверяете ему один случай, только ему будет интересно читать о таком случае. И тогда, сами увидите, то, что вам предстоит сообщить, само у вас вырвется и будет куда естественней, чем если бы вы старались потрафить многочисленной публике. Да, и прежде, чем засесть за письмо, порепетируйте в уме все, что соби-

раетесь рассказать, — все интересное, вашу повесть. Только уж чересчур репетицией не увлекайтесь, пусть повесть разовьется сама, на ходу, особенно если вы пишете конкретному другу, мужчине, женщине, чтобы ваш адресат рассмеялся, расплакался, ну, я не знаю, главное — задеть его, заморозить. Помните: только не думать, не думать о читающей публике, а то как бы все не испортить.

В тех двух случаях, когда мой метод сработал, два дебютных романа имели большой успех. И еще были удачные опыты, но то с небольшими рассказиками.

А первого декабря Мартина Йорка упекли на семь лет в тюрьму. Позже, на Рождество, я ему написала в Уормвуд Скрабс*, но, как и многие, не дождалась ответа. Он залег на дно. И сразу, прямо на другой же день после приговора, — понеслось, покатилося, бойкие перья знакомцев во всех газетах строили, свидетельствовали о его безалаберности, мальчишеском очаровании, и как безбожно он пил и транжирил, как составлял дикие планы стать магнатом и прогреметь на весь мир. Среди авторов этих статей были те, кто, я-то знала, был перед Мартином в неоплатном долгу. Одним из первых вылез

* Знаменитая мужская тюрьма в Англии.

Гектор Бартлет. Нет-нет, Боже упаси, он не утверждал, он только, видите ли, намекал, что сам оказался жертвой махинаций Мартина Йорка, но я-то знала, что это оголтелая ложь.

В печальные дни вступления в тот декабрь я стала сравнивать два издательства, куда меня занесла судьба. Прежде чем уснуть в своем Саут-Кенсингтоне, я лежала, глядя во тьму, кажется, час целый и вспоминала шум, обреченную сутолоку издательства Оллсуотера. Бухгалтершу Кэти, Айви, нашу машинистку, специалистку по телефонным звонкам, упаковщика Патрика и его жену Мейбл, обличительницу с вытаращенными глазами. Весь этот кавардак в изношенной, тонущей фирме, и Мартин Йорк в своем этом кресле, изнывающий по общению. Дело шло из рук вон, но сами сотрудники — чем они были хуже избранного общества в куда более мощном и денежном «Макинтоше и Тули»? И тут как никогда отчетливо мне представилось, что штат в «Макинтоше и Тули» нарочно подбирают из чуть-чуть смешноватых, немного уродских особей; и хоть все они были куда подготовленней, куда образованней, вели более здоровую и вольготную жизнь, чем замордованная, низко оплачиваемая команда Оллсуотера, что-то было

в прежнем моем издательстве здоровее и чище. Там у всех были, конечно, свои недостатки, но нанимали сотрудников вопреки этим недостаткам, а не благодаря.

Раздумывая в таком духе, я как-то ночью вдруг включила свет, вылезла из постели и посмотрелась в длинное зеркало внутри платяного шкафа. Стою, громадная, могучая в своей теплой просторной ночнушке, смотрю. Ну что со мною не так? Почему меня в «Макинтоше и Тули» облюбовали? И вот тут, впервые, в голове у меня забрезжило: да у меня ожирение. Я так дико, так неприлично толста, что взять меня на работу можно только ради какого-то их выпендрежа. И меня осенило, что каждый с претензиями к фирме, тем более разъяренный автор, при виде меня сразу сникнет и сбавит тон. А иначе — ну как бы это выглядело? Как на собственную мать замахнуться. Главное, неприлично. И я, стало быть, соответствую стратегии «Макинтоша и Тули».

С той самой ночи я твердо решила — что бы там ни было, есть и пить вдвое меньше. Вдвое меньше, чем пью и ем сейчас. И никогда не посвящать в свой план. А если уж очень привяжутся — объяснять, что я, спасибо, сыта. И продолжать в том же духе, перепол-

ловинивать свои порции, а то и четвертушку съедать, пока не достигну сносного размера и веса. И я стала есть и пить вдвое меньше прямо с утра.

Это решение точь-в-точь отвечало моей печали в декабре тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года. Всего несколько дней спустя — я как раз уходила из конторы — провизжал телефонный звонок от Мейбл, со всегдашними обвинениями. Очевидно, тут Патрик вошел в комнату, из которой она звонила, потому что он заорал, перекрывая ее крик:

— Не обращайтесь внимания, миссис Хокинз. Только, пожалуйста, не обижайтесь. С Мейбл что-то неладно.

Я подумала, что это он насчет головы, с этим-то у нее, конечно, неладно. Я и сказала:

— Ей надо к психиатру.

— Я завтра ложусь в больницу, — Мейбл понизила голос. — И, миссис Хокинз, вы были так добры к Патрику. Я только хочу, чтобы вы не спали с ним на досуге.

На другой день ее, бедную, оперировали, но ничто не могло ее спасти — а такая была молодая — от галопирующего развития злокачественной опухоли, и за неделю она умерла. Я дважды ее навещала в больнице. Она узнавала меня, хоть была затуманена и оглу-

шена наркотиками. Я и на кремации была на Голдерз-Грин и, глядя на уплывающий гроб, каялась, что плохо о ней думала, обращалась с ней, как с несносной бабой, какой она и была. Ах, Мейбл, вернись; вернись, Мейбл, и снова мучай меня. Патрик все время рыдал. Сказал мне: «Я знал, что у нее с головой плохо. Но здоровье-то всегда хорошее было. И как все быстро, как все быстро пошло, миссис Хокинз».

7

К великой моей радости, оказалось, что мое черное кружевное, мое парадное платье надо убавить на пять сантиметров с каждого бока, когда в январе тысяча девятьсот пятьдесят пятого года я его примерила, чтоб надеть на изысканный званый ужин, а до чего изысканный, я убедилась только по ходу пьесы. Ей-богу, пока не попала туда, я понятия не имела, что это мой первый лондонский светский ужин. Сто раз ужинала в гостях — у друзей, в ресторанах. Но таких церемоний в жизни не видывала.

На письменном столе меня с утра поджидала карточка: «Мистер Джон и леди Филиппа Тули просят миссис Хокинз благосклон-

но принять...» И внизу, в уголке, слова: «черный галстук», а это меня обязывало, я знала, явиться в вечернем платье, правда, больше ничего я не знала. Милли, которая с интересом вертела карточку, я объяснила, что черный галстук должны надевать мужчины. Я ответила, что миссис Хокинз с благодарностью принимает любезное приглашение мистера Джона и леди Филиппы... И вот уже я стояла у Ванды в комнате, и мое черное кружевное платье закалывалось, убавлялось, и углублялся вырез, с тем чтобы сократить платье до нынешнего моего размера и, как выражалась Ванда, освежить, чтобы помодней.

Вандина комната по-прежнему напоминала мастерскую былых времен. Кипы тряпок в ожидании переделки, среди них еще одно мое платье. Она частенько переделывала мои тряпки, но убавлять — убавлять ей пришлось впервые.

— Ревматизм у меня, ужас, — говорила Ванда, ползая на коленках, то и дело вынимая изо рта булавки и закалывая на мне платье. — Ничего не успеваю.

Тут я объявила, что черное кружевное платье требуется мне срочно.

Шевелиться больно, мочи нет. Курс лечения надо пройти, так она мне сказала.

— И что за лечение?

Мой вопрос Ванда пропустила мимо ушей, да и что я, в самом деле, к ней пристала как банный лист.

Все, что сказала Ванда:

— Тут время требуется... и вера нужна.

Но я не смогла удержаться, я дала ей совет.

— Ревматизм, Ванда, — я стала ее просвещать, — принимает различные формы. Надеюсь, доктор у вас хороший. Но поверьте, какое бы вы ни принимали лечение, очень полезно, вот мой вам совет, съедать по банану в день.

У меня у самой были приступы ревматизма два года назад и по совету одной негритянки из Штатов, которую встретила в автобусе, я стала лечиться бананами, и с тех пор боль как рукой сняло. Все это я поведала Ванде, пока та чирикала ножницами вокруг моей шеи. (Тот факт, что последние полтора месяца съедаю в день половину банана, я опустила.) Но Ванда только нахмурилась и поднялась, проскрипев. Я заметила, что голова у нее дернулась в сторону чего-то такого на полу, под окном. А Ванда ведь по-прежнему мучилась; куда подевались ее былая уверенность, безмятежность. И вот, крутанувшись по ее указанию в видах дальнейшего втыканья булавок, смотрю — на полу, под окном черный, крытый кожей ящичек, как две капли воды похожий на радионику

мистера Тули. Но как же так, думаю, но как же Ванда?.. ревностная католичка?.. И этот бокс, который, конечно, ни к какому шитью, ни к каким примеркам отношения не имеет?

Тут Ванда спрашивает:

— И с чего вы так исхудали, миссис Хокинз?

— Природа себя поправляет, — говорю. — Но всему свое время.

А сама бездумно пялюсь на этот черный ящичек под окном; и булавки трясутся в руках у Ванды. Совсем это не в ее духе.

На случай, если Вандин ящичек в самом деле радионика, спрашиваю:

— Это вы с боксом работаете?

— С каким таким боксом? — В глазах у Ванды ужас. А я стою и думаю: вдруг она сейчас вззоет по-своему.

— Я имею в виду ящик, который называют радионикой. И говорят, что с его помощью лечат людей, а возможно, кое-что еще делают.

— Кое-что еще?

— Ну да, мало ли... Но я в это не верю.

— Ничего я не знаю про никакой бокс. А вы вроде всё худаете, миссис Хокинз?

— Ну да, — говорю. — И надеюсь еще скинуть вес. — А сама изнываю от голода, представляя себе череду месяцев, когда буду томиться на куцей диете.

Но тайны своей я Ванде не выдала, да и она кое о чем умолчала.

Я бросаю на бокс презрительный, демонстративно пристальный взгляд в надежде, что Ванда его заметит. Мне кажется, что Ванда теперь уже боится меня и жалеет, что начала со мной откровенничать.

— Тут еще примерочка требуется, миссис Хокинз. Обещаю, выйдет чудесно. Только еще примерочка, завтра вечером. Не хворайте.

И что она хотела этим сказать: не хворайте?

В то время я нервничала ни с того ни с сего. И кто же мне позвонил, когда я прихорашивалась ради ужина у супругов Тули, как не папочка Изобел?

— Добрый вечер, миссис Хокинз. Это Хью Ледерер.

— Я слушаю, мистер Ледерер.

— Вам сейчас, кажется, не до меня.

— Да, в общем-то. Я иду на ужин.

— Завидую этому счастливчику. Я видел вас в воскресенье в церкви, но вы меня не заметили.

— Да, не заметила.

— Тогда вы тоже спешили. И вы, уж извините меня, выглядели прелестно.

И в самом деле, потеря четырех килограммов выгодно на мне отразилась. Мне приятно было услышать от Хью Ледерера такие слова, но я понимала, из-за чего он хлопчет: из-за своей Изобел.

— Я правда очень спешу, мистер Ледерер. Я еще не одета, и...

— Миссис Хокинз, вы не могли бы завтра со мной поужинать?

— К сожалению, нет.

— Тогда в пятницу?

— Это по поводу Изобел?

— Ну, — он сказал. — В том числе.

— Я действительно не могу вам помочь, мистер Ледерер. Я нашла ей работу в химической экспортной фирме, она отказалась. В издательствах очень мало вакансий. Я уже вам говорила.

— Это личное. У Изобел неприятности.

И тут я говорю:

— Почему вы не предоставите ей самой расхлебывать свои личные неприятности?

— Ох, миссис Хокинз.

— А теперь мне пора.

— Но, Изобел в сторону, может, мы с вами встретились бы, поговорили? И я хотел бы, чтобы вы меня называли Хью.

— Я вам перезвоню. Какой телефон у вас, мистер Ледерер?

Он продиктовал мне номер своего телефона, я его повторила с оттяжкой, как будто записываю, а сама и не думала.

* * *

Дом супругов Тули на Лорд-Норт-стрит был одним из того ряда домов, который так тесно прильнул к Парламенту, что располагал единственным старинным колоколом для своих обитателей. Правда, был этот дом уже и меньше, чем викторианское обиталище Милли. Дверь мне открыл лакей в такой темной и скучной ливрее, как будто хозяев давно уже унесло валом времени. Интерьер, однако, меня пленил. Я ожидала чего-то крупней, массивней, вызывающего чего-то, и — ничего подобного. Но ротозейничать дальше мне не пришлось, прибывали новые гости, и, едва я сняла пальто, меня понесло людской волной навверх, где уже стоял светский гомон. Джон Тули перехватил меня на пороге гостиной, представил жене, леди Филиппе, другим гостям и сунул мне в руку сухой херес, о котором я попросила.

Двоих из присутствующих я знала по фамилии и по газетным снимкам. Сэр Артур Кэри, магнат, держался несколько особняком, зато речь его оживленной супруги немолчно журчала в кругу поклонников.

— Миссис Хокинз была редактором у Оллсуотера, — сказал Джон Тули, подталкивая ко мне сэра Артура Кэри. — А теперь, к величайшему нашему удовольствию, она с нами.

— Издательство Оллсуотера, — сэр Артур вкусно расхохотался, — да уж, Мартин Йорк мне дал прикурить. — Он хохотал, хохотал, он прямо зашелся хохотом, и тут я усомнилась, что Мартин Йорк так уж серьезно дал ему прикурить, а если дело было пустое, стоило ли из-за него на семь лет упекать человека в тюрьму.

Нас было четырнадцать в столовой с пунцовыми стенами и терракотовым потолком. По стенам цвели в своих рамах писанные маслом цветы, вполне ничего себе, но как-то они не грели, и среди цветов висел ранневикторианский господин, ничуть не похожий ни на Джона Тули, ни на леди Филиппу, хотя был предъявлен, по-видимому, в качестве предка. Леди Филиппа была в черном кружевном платье, чуточку старомодном — ну точь-в-точь как мое. И я расслабилась, я убедилась, что одета вполне на уровне, а в летучем, остром взгляде леди Филиппы я заметила искорку веселого удивленья: ах, еще одна дама в комнате одета совсем как я.

Я сидела между их родственником по имени Обри, работающим на Сотбис, и краснолицым бригадным генералом в отставке. Свечи мигали, как свечам и положено, сияло серебро, лилась беседа. Мне удалось растормошить Обри с помощью «Счастливого Джима»*, который только что опубликовали, но, когда я взялась за генерала, тот показался мне сначала таким крепким орешком, что и не раскусить. Он, и это при его-то багровом лице, неприличнейшим образом выкатил на меня маленькие слезящиеся глазки. Но у него, по-видимому, была просто странная манера такая, или тут замешался медицинский диагноз, так как, не переставая пялиться, он мигом подхватил разговор, как только я заметила, что у него, наверно, была интересная жизнь.

— Хоть книгу пиши, — сказал он.

— Так за чем же дело стало?

— Сосредоточиться не могу.

— Для того чтобы сосредоточиться, — я стала его поучать, — нужна кошка в доме. У вас есть кошка?

— Кошка? Нет. Не до кошек. Два пса. Сверхдостаточно.

*«Счастливец Джим» — нашумевший роман Кингсли Эмиса (1922–1995).

И тут я дала генералу, по-моему, бесценный совет: если вам нужно поглубже сосредоточиться для какого-то дела, для писанья мемуаров особенно, вам необходимо завести кошку. Наедине с вами у вас в кабинете, я ему растолковывала, кошка как пить дать вспрыгнет на ваш письменный стол и мирно свернется под настольной лампой. Свет такой лампы, поучала я генерала, кошки просто обожают. Вот и ваша кошка уgomонится, устроится в безмятежной позе, а кошачья безмятежность буквально уму непостижима. И спокойствие кошки потихонечку, полегонечку перейдет к вам, всякое беспокойство у вас пройдет, нервы улягутся, и к вам вернется утраченное самообладание. И не надо вам все время следить за кошкой, зачем. Она при вас — и ничего больше не надо. Кошка оказывает огромное влияние на способность сосредоточиться, загадочное, таинственное влияние.

Генерал с глубоким интересом слушал меня, не переставая жевать и переводя свои выкаченные глаза с меня на тарелку и обратно. Наконец он сказал:

— Ладно. Уговорили. Срочно завожу кошку. (Три года спустя, замечу в скобках, генерал прислал мне экземпляр своих военных воспоминаний, изданных в «Макинтоше и

Тули». На обложке фотография: он сам за письменным столом, а валяжный, загадочный кот-соавтор сидит под настольной лампой. И дарственная надпись: «Миссис Хокинз, без доброго совета которой эти мемуары никогда не были бы написаны, — и спасибо за знакомство с сэром Кисом Мурмуром». Сама книга была замечательно скучная. Но я же ему только сказала, что кошка поможет ему сосредоточиться, я же не утверждала, что кошка напишет за него книгу.)

Занимая соседей по столу, слыша говор прочих гостей и звяканье вилок, я украдкой запускала взгляд в чужие тарелки. Ну и еды же там навалено в сравнении с моей половинкой! Обсуждались многие, отчасти мне неизвестные лица: Билли Грэм, сенатор Маккарти, полковник Насер*, ну и опять-таки «Счастличик Джим», бокс и «они», то они в смысле правительство, то они — американцы, они — ирландцы и еще всяческие они, оставлявшие для «нас» очень мало места; поминался и Мартин Йорк, безутешное

*Билли Грэм — (1918–2012) — пастор баптистской церкви, знаменитый проповедник. Джозеф Маккарти (1908–1967) — американский политик, сенатор-республиканец крайне правого толка. Гамаль Абдель Насер (1918–1970) — египетский политический деятель, президент Египта (1956–1970).

горе отца. Молодая женщина второй раз себе подбавила вкуснейшего произведения из фруктов со взбитыми сливками. И улыбнулась мне через стол:

— Ем за двоих. Беременная.

Леди Филиппа улыбнулась и поспешила спросить:

— Когда вы предполагаете кончить свои жития?

Загадочный вопрос спокойно улегся в рамки здравого смысла, когда оказалось, что речь идет о житиях двух святых, о которых пишет моя визави; еще я уловила, хоть от моего внимания, разделяемого между соседями справа и слева, маловато оставалось, что в свои двадцать восемь лет (моя ровесница) она уже родила пятерых. Я заключила, что она католичка, во-первых, и прикинула, во-вторых, что вместе с добавками она съела вчетверо больше меня. Не будь я занята беседой с генералом и молодым человеком из Сотбис, я бы ей объяснила, что есть за двоих при беременности отнюдь не желательно; ладно, подумала, потом объясню; но так уж случилось, что после ужина мне было не до того, слишком я озадачилась, слишком терялась в догадках, слишком я расстроилась по другому поводу.

Хоть на столь великосветских, тонных ужинах никогда не бывала, я чувствовала,

что я на уровне, в случае чего не ударю лицом в грязь. Никогда не задумываясь насчет того, к какому принадлежу классу, я предполагала, что это класс самый обыкновенный, самый что ни на есть средний класс, нечто вроде первой группы крови. Я не догадывалась о том, что обычаи высшего общества уж до такой степени отличаются от наших обычаев. Я, конечно, читала в старинных романах, какие номера откалывают аристократки, вроде того, что «леди удалились, покинув джентльменов за столом с их портвейном», но с реальной жизнью их никак не сопрыгала. Только диву давалась, как иностранка. Но, должна сказать, работая в «Макинтоше и Тули», поднабралась-таки кое-каких сведений об аристократическом образе жизни. И убедилась в результате, что куда лучше принадлежать к среднему классу. Высший класс не выживет, распадется без нашего среднего класса, а мы преспокойно обойдемся без них.

Ужин сам по себе подходил к концу, но еще журчала беседа. И вот все притихли, какой-то прошел шепоток. Леди Филиппа смотрит на меня со значением, а я ни малейшего понятия не имею, к чему она клонит. Потом, решив, что она о чем-то хочет меня спросить, отвечаю ей озадаченным взглядом. И вдруг леди Филиппа вскакивает, как буд-

то при ней сказали что-то не то, задели ее за живое. Ну, думаю, сейчас сцену закатит. Но остальные дамы меж тем тоже встают. А я сижу себе и никак не возьму в толк, чем таким мужчины нам насолили и за что это дамы их вдруг бросают, лебединно-надменно плывя из столовой. Я бы лично им посоветовала взять себя в руки. Мужчины, пошаркав, тоже встали, поглядывая на меня с любопытством, будто поверить не могут, что почему-то такое я ими не оскорблена. Но как ни была я обидчива в тот трудный, голодный период моей жизни, я не заметила ничего такого, к чему можно бы прицепиться. Я лично не понимала, зачем мне кому-то хамить только из солидарности с этими сверхчувствительными особами, очень возможно, ломаками. Леди Филиппа бормотнула, проходя мимо: «Вы идете?» Но по моему твердому убеждению, мужчины ничем не заслужили такого обращения со стороны дам. Я — миссис Хокинз. Я продолжала сидеть.

8

Хоть моя светская гибкость оставляла желать лучшего, но, оглядываясь назад, смело скажу, что здравого смысла мне было не за-

нимать. И после того званого ужина я замечала, кажется, что супруги Тули вдруг прониклись ко мне даже бóльшим доверием, а не охладели, как следовало ожидать. Они как будто произвели меня в надежный ранг — няньки? стряпухи? — которая никогда не подведет нанимателей. Однако дни мои в «Макинтоше и Тули» были уже сочтены, и до такой степени сочтены, что мне оставалось работать у них только два месяца. И эти два месяца, кстати, я прекрасно использовала.

Львиная доля работы редактора состоит в том, чтобы отклонять. Чуть ли не девять десятых работы. Тогда, по крайней мере, отклонять приходилось не только рукописи, но идеи, ежедневно протаскиваемые ко мне в кабинет задумчивыми дамами и господами, которые с важностью судей перебрасывались такими увечными антитезами, как оптимист / пессимист, фашист / коммунист, экстрове́рт / интрове́рт, и в эту, извините меня, дичь они норовят облечь искусство, литературу и жизнь, чтоб затем всю веселость и остроту, все радости убажённного любопытства оттуда выдавить с потрохами.

Но вот объявилась Эмма Лой. Она дала согласие свой следующий роман отдать «Макинтошу и Тули», которые, в предвкушение такой чести, устроили прием с коктейлями

в парадном зале издательства. Эмма объявилась со своим эгоцентризмом, капризами, со своим обаянием и волшебством. Когда речь идет о писательнице такого масштаба, как-то глупо говорить, что из нее бы получилась дивная актриса, но явление Эммы на такую мысль наводило.

Она решила забыть, как наябедничала на меня Мартину Йорку, и соответственно предположила, что и я решила об этом забыть.

И вот мой совет всякому, кому встретился на жизненном пути кто-то с таким обаянием, умом и талантом, как Эмма, и пришлось с этим человеком поссориться: хватайтесь за любую соломинку, но миритесь, миритесь. У жизни в запасе весьма ограниченное число таких особей.

Ну вот, и я, конечно, мгновенно растаяла, когда Эмма Лой, завидев меня в этом самом зале, крикнула:

— Ах, миссис Хокинз, миссис Хокинз, если бы вы знали, как я рада вас видеть. Больше я ни души тут не знаю. Надеюсь, вы посмотрите за моими книжками.

— Ваши книжки в моем покровительстве не нуждаются, — я сказала.

И чистую правду сказала. Можно по-разному относиться к самой Эмме Лой, но никто никогда не станет отрицать, что пи-

сатель она прекрасный. Джон Тули дал мне прочесть машинопись ее нового романа. После бредятины, какую приходилось расхлебывать, текст Эммы был как веянье бриза, чистое удовольствие — это стройное, звонкое течение книги, как музыки, эта лишь ей одной присущая манера: хищно вынюхав факты, их множить на вымысел.

Я изливала на Эмму мои восторги, пробаваясь единственным стаканчиком хереса, — она-то потягивала второй. Она сияла, она лучилась. Я рада была, что ссора с Эммой кончена и забыта. Могу ли я на нее положиться, нет ли — ах, ну какая разница; в общем-то Эмма, я думаю, не верила ни в дружбу, ни в верность вне положенных рамок и, кто знает, возможно, была права; высокие идеалы редко уживаются с сосредоточенностью на других, не исключено, более важных целях. Конечно, защита репутации Гектора Бартлета — цель не ахти какая, и Эмма знала, конечно, что он *Pisseur de copie*, как я его прозвала. Но он был ее протеже; я воображала, что их связывает секс; и только много-много позже она мне сказала, походя, ненароком, какая ей от него была польза. Он для нее выкапывал и ей приносил, оказывается, нужные книги... Польза-польза, всего-навсего польза. Версия вполне в духе Эммы:

раз, и отряхнуться от собственных помрачений. Думаю, слишком поглощенная своей литературной судьбой, она не спешила чувствовать, завязывать новые связи, ей некогда было влюбляться. Она патологически зависела от Гектора Бартлета, хоть и знала, что он бездарь и дрянь. Годы спустя он из кожи вон лез, стараясь ей погаже напакостить.

Но сейчас, куда денешься, Гектор Бартлет оказался на этом приеме, и, завидя его в толпе, я лишний раз подивилась, как Эмма может терпеть, чтоб этот *pisseur* дышал ей в затылок. Думаю, эта мысль посетила не одну меня. Он образовал как бы прореху в толпе, потому что все, с кем он норовил пообщаться, как можно вежливей его сторонились; заметив это, Эмма поспешила к нему на выручку, и — стянулась прореха. Те, с кем Гектор Бартлет не рвался беседовать, тактично толклись по кромке — публика вроде меня, редакторы, сотрудники других издательств, литературные агенты, не просиявшие авторы.

Джон Тули любезно, по кругу, обходил гостей, там и сям объясняя, что Марс перешел в знак Рыб (или это не Марс, а Венера, или это вовсе Меркурий вошел в Скорпиона?), вследствие чего многие политические вопросы вот-вот разрешатся наилучшим образом. Волною праздника Эмму скоро опять при-

било ко мне. Помню, она ввязалась в спор с Джоном Тули по поводу его лунных блужданий. Так типично для Эммы Лой, так в ней подкупает, что она пренебрегает всеми условностями подобных сборищ. Ее хлебом не корми, только дай поговорить на серьезные темы. Что именно она говорила Джону Тули, что именно ей говорил он — тает в туманах памяти; только одно мне четко запомнилось: Джон Тули ей объявил, что она скептик. «Да вы, поди, и в Бога не верите?»

— Когда верю, когда нет, — ответила Эмма Лой. — Я одно знаю, и это, по-моему, очевидно: Бог верит в меня.

В этом была вся Эмма Лой, и поныне, без сомненья, остается. В ту минуту, стоя рядом с Джоном Тули, я дала ей совет: будь я на вашем месте, сегодня веря, а завтра — нет, я бы наслаждалась в те дни, когда верю, и каялась в те дни, когда — нет.

— Миссис Хокинз, — отвечала знаменитая дама, — если последую вашему совету, получится ли из меня редактор?

— Не обещаю, — сказала я.

— Что же, я ценю ваш совет. Только мне не в чем каяться.

Тут Джон Тули что-то заметил в том смысле, что занятия радионикой ставят нас по ту сторону добра и зла.

Сэр Алек Тули был почти невидимкой. Как он являлся на службу, как уходил — оставалось тайной; может, существовал черный ход исключительно для него.

Как-то в конце февраля он позвонил по внутренней связи и томно попросил зайти к нему в кабинет, когда мне будет удобно. Я отправилась тотчас и пожала вялую руку, которую он тотчас же после моего прикосновения рассеянно уронил.

— Миссис Хокинз, мы знаем, что вы исключительно надежная женщина, а потому, после долгих раздумий, решили доверить именно вам один критический труд, который мы собираемся издать, но который нуждается в таком прилежании, таком кропотливом внимании и тщательной обработке, на какие, по нашему мнению, только вы одна способны.

Мое внимание споткнулось о фразу «исключительно надежная женщина» — да ведь точно то же мистер Туинни, мастер на все руки, сказал обо мне Милли в моем присутствии. «Миссис Хокинз — исключительно надежная женщина». То же самое, слово в слово! Но тогда это было выражение крепкой, здоровой дружбы и произносилось громко, даже с надсадой, с целью перекрыть немолчное журчание радио.

В устах сэра Алека слова похвалы звучали так, будто какая-то птица попала в беду и рыдала далеко-далеко за меркнувшим озером. Мне стало тошно, как если бы мне силком совали то, чего я терпеть не могу, скажем, кофе без кофеина или *coitus interguirtus**, и, конечно, я в этот момент — ну ничуть не хотела быть исключительно надежной женщиной.

— Рукопись, — он говорит, — требуется причесать.

— То есть переписать?

— В том числе. Но еще там нужно выверить факты и прочее. Грамматика, синтаксис, все такое. Даты.

И тут меня осенило: речь идет о книге Гектора Бартлета, Эмма всучила ее издательству под шумок, в качестве одного из своих условий.

— Книга, — продолжает сэр Алек, — называется «Вечный зов», исследование романтически-гуманистического направления. Глубокая вещь. Сравнительный анализ «Пути паломника», «Вильгельма Мейстера» и «Пера Гюнта», или, по крайней мере, попытка такого анализа. Я в подобных материях пасую.

*Прерванное соитие (лат.).

— Я тем более, — говорю. — Это выше моего понимания. А кто автор?

— Некто Гектор Бартлет. Нам его с самой лучшей стороны рекомендовала наша мисс Лой.

Тут я говорю:

— С этим типом лучше не связываться. Он Pisseur de copie. У него в голове опилки. Он, для начала, переврет все факты, а потом их нанижет таким манером, чтобы подтвердить свою наскоро состряпанную теорийку.

— Да-да. Но как вы его назвали, простите? По-французки что-то?

Я, однако, решила не подвергать спокойствие и здоровье сэра Алека столь суровому испытанию. Я ничего не стала ему объяснять. Я поутихла. Обещала, что загляну в эту рукопись. И даже сослалась на святого Фому Аквинского, который, в конце концов, рекомендует основывать свои суждения на том, *что* сказано, а не на том, *кто* это сказал.

— Так что — Бог с ним, с автором. Гляну, что за книга.

— Мы обязаны издать эту книгу. Небольшим тиражом, естественно. Это повлечет значительное...

Я взяла эту книгу. Взяла у сэра Алека, так мечтавшего поскорей сбыть ее с рук; мои же

руки при этом мне хотелось срочно защитить резиновыми перчатками.

Неделю целую я убила на это творенье; оно дико действовало мне на нервы. Я взяла его домой, в надежде сосредоточиться на уму непостижимых страницах.

— Может, это мне не по зубам, — плакалась я Милли.

— Еще чего! Если уж вам не под силу ее одолеть, миссис Хокинз, — постановила Милли, — видно, это нехристианская книга. (Под «христианским» Милли имела в виду «человеческое». Она утверждала, например, что ее кот на нее смотрит «ну прямо христианскими глазами».)

А я же вдобавок от голода мучилась, от своей диеты. Чем-то книга этого Гектора кошмарно меня достала, и я не могла объяснить, где тут собака зарыта. В конце концов, мало ли я расправлялась с другими отвратными рукописями, почему же и эту не исчерпать с тем же олимпийским спокойствием? Но в злосчастном «Вечном зове» таилась угроза. Сама Эмма Лой пожелала, чтобы его причесали и припудрили для публикации. И ведь знает, что я не дура. Но пытаться отредактировать эту книгу — все равно что отправиться на расчистку джунглей, взяв с собой пылесос.

Я понесла рукопись к Уильяму Тодду, нашему студенту-медику; он был всегда мил со мной, а в последнее время — так даже очень. Он же интеллектуал, не то что я, он привык иметь дело с идеями, с их анализом. Но Уильям принес мне книгу обратно, одолев две главы, первую и последнюю.

— Хрень собачья, — был его диагноз. — Полная липа. На каждой странице — Ницше, Аристотель, Гёте, Ибсен, Фрейд, Юнг, Хаксли, Кьеркегор, а такую пургу несет. Нет, сейчас же вернуть, вернуть немедленно.

За что мы и выпили.

Весь остаток недели я в уме репетировала спич, который произнесу, отказываясь от этой работы, а эффект проверяла на Милли.

— Я скажу так: несмотря на то что Эмма Лой поручилась за это произведение, сама я чувствую...

— Лучше бы не припутывать эту женщину, — перебивает Милли. — Ведь она опасная, сами знаете.

Неделя еще не кончилась, а Джон Тули заявился ко мне в кабинет с торжественным выражением на лице. Я подумала было, что он хочет обсудить работу Pisseur'a.

— Как дела, миссис Хокинз?

— Это выше моего понимания, — говорю. — Я просто не могу с этим справиться.

— Да уж, четыре дня льет и льет. Совершенно с вами согласен, — он мне отвечает. — Но оставим погоду в покое, миссис Хокинз, я хочу кое-что с вами обсудить. Да. Дивные дела, между прочим.

— Дивного мало, — говорю я, распаляясь, и мне не терпится перейти к моему спичу.

— Парад идей, — говорит он, усаживаясь в кресло, в котором сидят обычно мои молодые авторы.

Он пришел, оказывается, с тем, чтобы предложить мне вдобавок работу второго редактора в новом ежеквартальнике под названием «Фантом», который он собирается основать. Публиковаться там будут эссе, стихи и рассказы о сверхчувственном и сверхъестественном.

В те годы все вдруг ударились в сверхъестественное, может быть, под влиянием непостижимых событий, омрачивших прошедшее десятилетие.

— Да, — говорю, — это, правда, дивно.

Еще более дивно было то, что он посулил мне повышение жалованья.

Перед уходом он вдруг сказал:

— Вы хорошо себя чувствуете, миссис Хокинз?

— Прекрасно, спасибо, мистер Тули. А вы?

— О, я-то хорошо. Просто вы как-то изменились, если позволите чисто личное наблюдение.

— А-а, это я худею.

— О Господи. И станете тощая?

— Нет, надеюсь, просто нормальная.

— Боже ты мой. Может, вам стоило бы испробовать бокс.

Это было в четверг, а в пятницу утром я отправила рукопись Гектора Бартлета к сэру Алеку в сопровождение записки, в которой тщательно взвесила каждое слово: «Считаю, что этот текст исправлению не подлежит».

Я просматривала кое-какие заметки относительно «Фантома», которые мне прислал Джон Тули, но тут загудела внутренняя связь. Пробили часы. Полдень.

И послан был Ангел от Бога...

— Да, я слушаю.

Это был сэр Алек.

Радуйся, Благодатная

— Миссис Хокинз, если вы сможете выкроить время сегодня в половине третьего и заглянуть ко мне в кабинет, я вам буду весьма признателен.

И Слово стало плотью...

— Да, конечно, сэр Алек.

Я сбегала в паб по соседству, слопала половину восхитительного бутерброда с вет-

чиной, заглотнула полчашечки водянистого кофе и полрюмки портвейна. Этот паб облюбовали журналисты, сотрудники «Макинтоша и Тули», газетчики вблизи Ковент-Гардена. Я-то еще успела, нашла место за столиком, а тем, кто чуть запоздал, пришлось стоять. Скоро паб наполнился шумом и пивным, сигаретным, человеческим духом. Дверь распахивалась, хлопала, народ валил и валил. Один господин привел на поводке спаниеля. Спущенный с поводка, спаниель стал прохаживаться у всех под ногами в надежде незаконно поживиться у добрых людей где кусочком бутерброда, где недоеденным пирожком. Я следила за песиком, с тем чтобы его одарить оставшейся половиной моего бутерброда, если он подойдет ко мне. Но он проследовал к бару и стал обнюхивать сосиску, которая болталась в левой руке одного господина, в правой державшего кружку пива. Песик очень мило угостился, оттяпав кусок от искустельно свисавшей сосиски. Господин повернулся, обругал пса. И оказалось, что это Гектор Бартлет. В ту же секунду он щедро черпнул мазок горчицы из баночки на стойке, плюхнул на остаток сосиски и поднес алчущему псу.

— Ох, не надо! — охнули все, кто это видел, я в том числе. Оpozдал и хозяин спа-

ниеля, он успел только засвидетельствовать грязное дело, а бедный пес уже бежал к нему, жалуясь, скуля и отчаянно тряся головой. Я выпросила у бармена воды в глубокой чистой стеклянной пепельнице. К счастью, спаниеля почти тотчас вырвало на пол, его уже обступили, уже суетились, затирали его грех, шлепая тряпками, рассыпая опилки. Хозяин спаниеля, молоденький, тощий, подошел к матерому Гектору Бартлету и сказал:

— Очень даже гадко это с вашей стороны, вот что я вам скажу.

По-моему, чресчур деликатно.

Но Pisseur de copies, поедая уже новую сосиску, в ответ только кинул небрежно:

— Он спер у меня одну половину, почему ж не угостить его остальной.

Молодой человек отвернулся брезгливо, пристегнул поводок к ошейнику своего пса и вышел.

Все как будто вздохнули с облегчением: опасались драки.

Гектор, уткнув свои подбородки в ворот дубленки, ворочая детским ртом, поедая сосиску, притулившись к стойке спиной к бармену, и обозревал толпу. Часто в обеденное время или точнехонько к концу рабочего дня в пабах по соседству видели, как он жадно ловит взгляды какого-нибудь издателя или

журналиста, который, не исключено, мог ему пригодиться. Он поймал мой взгляд.

— А-а, миссис Хокинз, очень приятно! — вскричал он, все еще стоя спиной к бармену и только чуть-чуть повернув к нему голову, чтобы через плечо заказать еще одно пиво. — Миссис Хокинз, как я понимаю, вы мой новый редактор.

Я не ответила. Встала и ушла. Но по дороге в контору до меня вдруг дошло, что мне смертельно надоело издательское поприще. Потом дошло, что это несправедливо, территорию паба едва ли можно назвать издательским поприщем, да и Гектор Бартлет на издателя как-то не тянет. Но в душе оставался противный осадок, и, входя в кабинет сэра Алека Тули ровно в полтретьего, я чувствовала, как дико устала от авторов, агентов, книг, типографщиков, переплетчиков, критиков и редакторов. Сэр Алек еще не вернулся после обеда. И я рухнула на стул со своими невеселыми думами. Нет, ей-богу, мне все тут осточертело, и так хотелось — забрести наобум, как бывало, в какую-нибудь книжную лавку, выбрать какую-нибудь книжицу и листать, не задумываясь о том, сколько издательского пота пролито ради нее. Я не только устала, я осталась голодной после своего бутерброда, но этим как

раз я гордилась. Сэр Алек явился в пять минут четвертого, весь сияя и лучась, пропускающая перед собой Эмму Лой. Никогда я его не видела таким восторженно-вдохновенным.

— Мы задержали вас, миссис Хокинз. И надолго мы вас задержали?

Он суетился, не зная, куда определить Эммин плащ, куда усадить Эмму. Очевидно, они отобедали в каком-то роскошном месте вроде «Плюща», «Правил игры» или «Ритца» и растаяли от тех вин и изысканных яств, какие рисовало мое голодное воображение. Одно из последствий диеты — пуританский ужас, овладевающий ее жертвой при мысли о том, *что* едят и пьют другие, и, главное, — *сколько* едят. Три обильных блюда, терзалась я, приветствуя Эмму милой улыбкой, белое рейнское, копченый лосось, потом отбивные из ягненка и к ним чуточка овощей, спаржи, скажем, ну, я не знаю, может, чего-то такого *flambé**, а потом...

Но тут моя фантазия иссякла, тем более я отвлеклась от этой парочки с их обедом, потому что в кабинет вошла Энн Клу, неизбывный ходячий упрек нашей национальной совести, ибо ее маньяка-папашу повесили, а она все равно была так мила и так му-

*С пламенем (*фр.*).

дро правила нашим издательством. Следом поспешал Колин Шу, выкрикивая на ходу:

— Дивно выглядишь, Эммочка, — обращаясь к Имени, одетому во все серое от дорогого портного, погруженному в кресло и в послеобеденную истому.

— Мы опоздали? — встревожился Колин.

Так это же совещание, ясно как день, причем назначенное на три часа.

Я уж подумала было (у страха глаза велики), что меня пригласили на полтретьего и заставили ждать нарочно, чтоб поставить на место; но, скорей всего, меня просто забыли предупредить, что передвинули время. За что бы там Колина Шу ни выперли из медицины, но только уж неумение подойти к пациенту явно было тут ни при чем. Он хлопотал возле Эммы, он с гордостью и не кривя душой воспевал ее новый роман, в эту минуту, видимо, искренне запямятовав, что лучший автор — это покойный автор. Сэр Алекс еще кого-то вызвал по внутренней связи, и в результате явилась Абигейл де Мордель-Бром-Бильяр и была подробно представлена Эмме Лой.

— Я не совсем уловила фамилию, — сказала вредная Эмма.

Абигейл ответила элегантно:

— Просто Абигейл, прошу вас.

У Абигейл был наготове блокнот для стенографии. Она присела на краешек кресла, подрагивая вечным пером.

— Мы здесь собрались по очень приятному поводу, — начал сэр Алек. — Думаю, в данном случае не потребуются долгих дискуссий. Речь идет о книге нашего автора Гектора Бартлета под названием «Зов вечности»...

— По-моему, там название «Вечный зов», — сказала Эни Клу и улыбнулась Эмме Лой.

— «Вечный зов». Да. Тут, правда, примешиваются кое-какие детали, но они надолго нас не задержат. Миссис Хокинз, вы взяли на себя труд ознакомиться с книгой, и у меня имеется ваше заключение, что в ней нельзя ничего исправить.

— Высочайшая похвала, — вставил Колин Шу с бодростью в голосе, натренированном на сообщениях типа: «Вам остается еще четыре месяца, да это же целая жизнь!»

Перо Абигейл порхало по строчкам.

— Миссис Хокинз не желает заниматься этой книгой, — сказала Эмма Лой. — Знаете, миссис Хокинз, вы ужасно предубеждены против Гектора.

— Будем придерживаться книги, — попросила Энн Клу тоном многотерпеливой учительницы, — не будем переходить на личности. Главное — книга.

Далее я адресовалась непосредственно к Эмме Лой:

— Никто не сможет переписать эту книгу, никто не сможет ее отредактировать. Это сплошной кошмар.

— Я хочу сделать это для Гектора, — простонала она, — и за что вы так на него окрысились?

— Он *Pisseur de copie*, — сказала я, ну не смогла сдержаться. Как-то у меня с языка сорвалось.

— О Боже! — вздохнула Эмма. — Этот ваш милый эпитет. Вы пустили его по рукам, и теперь все кому не лень его повторяют и портят Гектору репутацию. Я, конечно, не объявляю его гением, но...

— Что вы такое сказали, миссис Хокинз? — недоумевал сэр Алек. Колин Шу смотрел в потолок.

— *Pisseur de copie*, и это значит, что он мочится журнальными штампами, что он пишет вонючей прозой.

— Не лучше ли нам... — взывала Энн Клу.

— Дело в том, — вздохнула Эмма, — что я хочу помочь Гектору и не знаю как.

Я тогда так ее поняла, что она хочет от него отвязаться, и публикация этого его вечно-го зова — прощальный дар.

— Уверен, что миссис Хокинз не хочет этим сказать... — начал Колин Шу.

— Ну а я уверен, — перебил сэр Алек, — что такой выдающийся автор, как мисс Лой, не станет рекомендовать недостойную книгу, и, уж если позволите мне выразить мое личное мнение, ваши формулировки, миссис Хокинз, порой...

— Лично я книги не читала, — вставила Энн.

Абигейл знай себе строчила в своем блокноте, невозмутимая, легкая, сплетя ноги, сидя на краешке стула.

— Вам, по-моему, стоило бы поближе познакомиться с Гектором, миссис Хокинз, — сказала Эмма, — в нем так много хороших черт.

И тут — тут у нас с Эммой пошли как бы сепаратные переговоры. Она сказала, что у Гектора, мол, с этой книгой столько было мороки, — и я подхватила: «Да, мороки, вот именно», на что она мне: «Согласна. Но что вам стоит, ей-богу, ну подправьте вы ее хоть чуть-чуть, ну, милая, для чего же вы здесь и сидите?» И тут уже я не удержалась, я рассказала, что видела в пабе. «Раз — и смазал сосиску горчицей, — говорю, — бедный пес».

— В данном случае Гектор показал себя с совершенно неожиданной стороны, — на-

шлась Эмма. — Но в конце-то концов, мало ли история знает писателей и художников, которые были абсолютными сволочами. К его творчеству данный эпизод никакого отношения не имеет. Нет, вы явно к нему придираетесь.

— Если вам нужен мой совет, — это я уже сэру Алеку, послеобеденную негу которого так невозвратно отравила, — отошлите вы это произведение творцу, как владелец магазина вернул бы порченный товар, будь то фотоаппарат или банка с горошком. Верните вы ему эту рукопись.

Бедняга Энн Клу взывала:

— Будем же справедливы...

— И, миссис Хокинз, — отчеканила Эмма, — прозвище, которое вы дали автору, непристойно. — Она обернулась к сэру Алеку: — Вы должны признать...

— Имя мисс Лой — достаточная гарантия, — не оплошал Колин Шу.

— Нам, по-видимому, придется передать эту книгу другому редактору, — скрепил сэр Алек. — Нам очень жаль, миссис Хокинз, но иначе поступить мы не можем. А мы вдобавок так рассчитывали на вас в связи с «Фантомом». «Фантом», — повернулся он к Эмме Лой, — наш новый проект, ежеквартальник, посвященный оккультным темам.

Книгу Pisseur'a так они и не издали. Зато издали «Фантом», который, без моего участия, процветал чуть не двадцать лет.

— Жалко, что вы обозвали его этим словом, — сказала Милли в тот же вечер, когда я ей отчитывалась о событиях дня.

— Вот не могу я. Иногда на меня как найдет, как нахлынет, не удержать. Как будто Евангелие проповедую.

— Значит, вы в своем праве, миссис Хокинз. Ну и хорошо, что все им высказали.

На другой день Колин Шу принес мне расчет за месяц. Пояснил, что я могу уйти, когда мне будет угодно.

— К великому нашему сожалению, миссис Хокинз.

Я расписалась в получении денег и заверила его, что уйду сразу же, как улажу кое-какие мелочи. Потом я прибавила:

— И не забудьте, что Гектор Бартлет — Pisseur de copie.

— Я не забуду, миссис Хокинз. Где тут забыть. А вы изумительно выглядите в последнее время, уж извините.

Я распрощалась с коллегами; в глазах Энн Клу при этом метнулась, по-моему, зависть, как будто я ловко обошла субстанцию, в которую сама она вляпалась. Я пошла попр-

щаться с Абигейл. Прощаясь, я заметила ко-со лежавший на столе отпечатанный список из десяти фамилий. Не собиралась вникать, но взгляд разбежался. Одно из имен было — Ванда Подолак.

9

Стылый март тысяча девятьсот пятьдесят пятого года был чуть ли не самый странный март в моей жизни. Милли Сандерс на весь месяц укатила в Ирландию, у нее там дочь заболела. Ночами я подолгу лежала без сна, прислушиваясь к обставшей меня тишине, вникая в толчею застрявших в ушах голосов.

Голос Мартина Йорка твердил: «Доверие — это всё, миссис Хокинз. Я пытаюсь вернуть нашему издательству утраченное доверие», перемежаясь голосом Айви, машинистки Оллсуотера, чьи «н» звучали, как «д»: «Де здаю, де здаю, ода задята». Острые взвизги Патриковой жены Мейбл летели в меня, как камни: «Вы, миссис Хокинз... вы... вы спите с моим мужем... вы затаскиваете его к себе в постель... Ради собственного удовольствия, миссис Хокинз...» Но ведь она умерла, Мейбл, вдруг умерла, в могиле лежит. А как нежнел ее голос, когда вдруг у ней про-

чищались мозги: «Вы к нам так добры, миссис Хокинз. Вы так милы с Патриком».

Милли говорила:

— Вам бы замуж, миссис Хокинз. Молодая женщина! Двадцать восемь, двадцать девять годков, и — всю остатнюю жизнь вдоветь...

Я кратко ее посвятила в историю моего недолгого замужества во время войны.

— Тоже мне — замужество, — заключила она. И это было, в сущности, справедливо.

В тот март, когда меня выперли из «Макинтоша и Тули», я не рвалась сразу же, высунув язык, искать другую работу. В отсутствие Милли я целыми днями каталась на верху двухъярусного автобуса по всему Лондону и дальше, по пригородам и предместьям. Стэнмор, Бушей, Чингфорд, Эджвар, Ромфорд, Хэрроу, Дагенхэм, Баркинг. И не было почти ни единой улицы непокоренной, хоть с конца войны минуло десять лет. Между викторианскими домами, лавочками, церквями сирозияли пустыри: давние воронки, оставленные бомбежкой. Мусор и щебень поразгребли, и на месте порушенных войной домов кустилась небывалая зелень, прорастали странные травы. Я проезжала мимо доков, вглядывалась в разбег железнодорожных путей, в еще темные окна пабов, куда медленное угасание дня мне не воз-

вещало, что пора восвояси. Лондон помнил угольные костры и был еще темен от сажи. Уэмбли, Хакни, Айлингтон, Саутолл, Эктон, Илинг. А то я бродила по центру, заждавшемуся новых красноречиво роскошных высот. Или меня заносило в Ричмонд, Гринвич, Далвич, Хэмптон, в Кью, где, когда нет дождя, я слонялась в укромости парков, безбоянно отпугивая пристававших ко мне типов в дождевиках. Сербитон, Юэлл, Кройдон, аж Орпингтон. День за днем я проводила в автобусе, пялясь в окно или исподтишка поглядывая на других пассажиров, по большей части обшарпанных, и, если они ехали не в одиночку, рассеянно прислушиваясь к беседе — о семье, о еде и знакомых, о покупках и службе; и хоть бы мельком, хоть бы на миг сверкнул среди всей этой нудности разговор на общие темы.

Бывало, надо мной нависало лицо, лица. Это когда кондуктор или кто-то из пассажиров выходил из вагона, входил в вагон: горластые школьники, грузные мамы, которым не удалось найти свободное место внизу. Я себя чувствовала, как Люси Сноу в «Городке»*, одиноко бредущая летней ночью

*Люси Сноу — героиня романа Шарлоты Бронте «Villette», в русском переводе «Городок».

по брюссельским улицам, среди праздничных толп, и вокруг ликовали, вокруг были лица, лица, еще более нелепые, фантасмагорические, оттого что она приняла морфин.

Трезвый Лондон неспособен на такое буйное излияние чувств, но голоса вокруг, кажется, в любую минуту готовы были сорваться на крик, и признаки истерии, надлома сквозили в одутловатых и нежных, в длинных и кислых, красивых и разрисованных лицах. Барнет, Лоутон, Хендон, Норхолт, Виллесден, Кэмбервелл, Пламстед, Кингстед, Кингстон, Брамли. Я обедала в шумных пабах, оставляя полпорции на тарелке, и глаза подавальщиц округлялись, а рты разевались так, как, мне казалось, не бывает в природе. Я пила чай с булочкой в чайных, где официанткам было плевать, доела ли я свою булочку, не доела. Мне стало мерещиться, что моя диета действует на меня, как допинг, но я поскорей прогнала эту мысль. И принялась думать о своей жизни, с тех пор как стала миссис Хокинз, но ни к какому выводу не пришла.

— Добрый день, миссис Хокинз, — раздалось рядом: это новая жена нашего соседа свернула к своей калитке, когда я сворачивала к моей.

В тысяча девятьсот сорок четвертом году, восемнадцати лет, я вышла замуж за Тома Хокинза. В июле мы с ним познакомились, а двадцать восьмого августа я за него вышла, причем ему пришлось взять дополнительный отпуск из армии. Том был парашютист, сержант воздушно-десантных сил. Я недавно кончила школу и поступила в Земледельческую армию*. Тут-то я и встретила Тома. Он приехал в отпуск из армии как раз в то поместье, где я работала. Я была крупная, крепкая, хоть меня, конечно, еще не разнесло так, как потом, потом. Он был высокий, с длинным, тощим лицом — и очень смуглый; один из тех смуглых англичан, при виде которых гадаешь: откуда взялась эта смуглость — от римлян? От потерпевших крушение моряков испанской Армады? Или досталась от норманнов, которым, в свою очередь, перепала от галльских солдат? Тому было двадцать четыре года, он учился в сельскохозяйственном колледже, когда началась война.

У его отца в Хартфордшире была земля. Так и решили: Том после войны станет фермером, а фермершей — я. Интересно, ка-

* Женская организация времен Второй мировой войны.

кая бы из меня вышла фермерша, если бы Том не погиб? Земледельческая армия приглянулась мне потому, что я была крупная, крепкая, и после долгих школьных лет в душных классах работа на вольном воздухе отдавала вожаделенной свободой, и меня никак не тянуло в душный офис, куда бы иначе меня упекли, так как в военные годы призыву подлежали все, кто не достиг сорока пяти лет. Но я была вдобавок и завзятая книгочея — об этом Том не узнал, не дожил.

Я познакомилась с Томом Хокинзом на танцах, потом мы опять встретились. Потом, когда он вернулся в часть, мы стали переписываться, сперва раз в неделю писали друг другу, потом два раза, потом каждый день. Когда выпадала возможность, он мне звонил. Я понятия не имела, где расположена его часть, это было секретно, все интересное было секретно в годы войны; адрес на письмах к нему состоял из цифр, цифр, потом шла еще какая-то тягомотина, и уж дальше следовало вывести ВВС. Снова Том приехал на побывку, на конец недели, и сделал мне предложение; и я попросила две недели отсрочки на размышление — просто цену себе набивала. На той стадии я была влюблена, как кошка, влюблена, как и сам Том. Мои родители, отец и сестра Тома, две моих од-

ноклассницы, работавшие со мною вместе в Земледельческой армии, присутствовали на свадьбе двадцать восьмого августа. На мне было школьное выходное платье, длинное, белое, все честь честью, и к тому же я сэкономила талон на одежду. Том был в мундире. Четыре дня мы провели в Лондоне, на съемной квартире. Собирались походить по театрам — какое! Нас потревожили только несколько зажигательных бомб, верней, объявление воздушной тревоги. Фау-2, по случаю которых тревога не объявлялась, мы не заметили. Мы гуляли по Хэмптон-Корту, мы гуляли по Кью-Гарденс. Бродили по Гайд-парку, вокруг Серпантина, пили чай и лакомились шоколадным тортом на Керзон-стрит по бешеной цене: два шиллинга шесть пенсов за порцию, плюс чаевые.

А потом — потом снова я стала девушкой из Земледельческой армии, только теперь я ждала писем, адресованных миссис Хокинз. Я знала, что Тома скоро бросят на Западный фронт, где немец стоит насмерть. Закаляясь, готовясь к худшему в те последовавшие за свадьбой недели, я тайком репетировала: вот приходит официальная телеграмма, сообщение: «Ваш супруг пал смертью храбрых». Лицо, ответственное за нашу группу, скажет: «Там телеграмма на ваше

имя, миссис Хокинз». Вот оно, вот. «Не желаете ли как-нибудь подкрепиться, миссис Хокинз? Не хотите ли прилечь? Держитесь, миссис Хокинз. Не только вас постигла такая судьба...»

Нежданно-негаданно Том нагрянул собственной персоной, в понедельник, одиннадцатого сентября. На другой день ему полагалось вернуться в часть. Мы устроились в крошечном закутке над пабом. Том помалкивал, но я догадалась: он ушел в самоволку. Мы были мистер и миссис Хокинз. Я поняла, что скоро его бросят в дело. И на кой черт он, дурачок, я думала, связался с этими парашютистами.

Мы поужинали внизу, потом он исчез куда-то, а я поднялась наверх и легла в постель; выпивка ему не повредит, он пояснил. А сам уж и так вылакал три двойных виски. В тот вечер в пабе имелся виски. Редчайший случай. Виски тогда был дефицитный товар. В девять я улеглась с книжечкой и стала ждать Тома. Снизу, из паба взлетал небывалый шум, но я не слышала ничего, к часу закрытия меня сморил сон, и тут Том меня разбудил, с пьяным ревом вломившись в комнату.

И вот мой совет каждому, кто собрался связать себя брачными узами: предваритель-

но поглядите на своего партнера в пьяном виде. Особенно если это мужчина. Выпивка может разнежить, может сделать милого человека еще милей. Лишняя выпивка из любого сделает идиота. Даже в дикаря может превратить человека. Именно так и случилось с Томом. Я до тех пор не видывала его пьяным. Он ворвался ко мне, начал куролесить, буйствовать, и все крушить на своем пути — начал с кувшина и таза для умыванья, кончил настенным зеркалом. Я вскочила, я пыталась унять Тома, когда он, содрав с постели матрас, решил бросить его в окно. Но в результате Том сначала отшвырнул меня в дальний угол, а уж потом занялся матрасом. И все время, все время он орал и матерился во все горло, а хозяин с хозяйкой остолбенели в дверях и погода велела сыну вызвать полицию.

Прежде чем явился полисмен, Том отбыл обратно в часть, даже не глянув в мою сторону. Вот не знаю я, как Том добрался, скорей всего на попутках. Я помогла кое-как навести порядок кряхтевшей и стонущей рядом со мною хозяйке. Мы утрясли вопрос о возмещении ущерба, составили список, и потом я отбыла на место, отведенное мне в большом старом доме, где нам полагалось жить. Полисмен, кстати, в этих обстоятельствах вел себя вполне мило.

Вот не знаю я, оказался бы прочным наш брак или нет? Уже тогда, хоть совсем зеленая, я поняла, что Тому Хокинзу вовсе не свойственно такое буянство. Может, нервы сдали, расстроенные войной, что-то в этом роде? Но ведь не только Тому пришлось хлебнуть лиха, он — один из тысяч. Теперь уж я думаю, что, если бы я с самого начала ему показала свой нрав, он бы не вел себя так похабно. На лбу у меня был синяк, на руках тоже. Исцарапана шея. И вот мой совет всем, собравшимся замуж женщинам: не ведите себя с мужем сразу так, как намерены вести себя впредь, но грубей, жестче. Зато потом, когда вы постепенно ослабите вожжи, для него это будет приятный сюрприз. Я не демонстрировала Тому своих сильных сторон, в их числе, может быть, любви к книгам, ну я не знаю; я была женственной, покорной, влюбленной; Том не имел обо мне ни малейшего представления.

Одиннадцать дней я не получала писем от Тома. Правда, через шесть дней он погиб под Арнемом в Голландии, где высадились военно-воздушные силы союзников — себе на погибель. Так я и не узнала, погиб ли Том в воздухе или успел приземлиться. Письмо от Тома пришло на другой день после той телеграммы. Какая-то заминка вышла с опоз-

нанием останков, волынка какая-то с передачей данных от немцев Красному Кресту.

В большой аудитории шла лекция о разведении племенного скота. И тут меня вызывают. «Милочка, вам телеграмма»... А на другой день — простым письмом весточка от Тома, коротенькая, писаная перед самым вылетом из Англии. О своем дебоше — ни слова. Может, забыл? Или решил — подумаешь, дело большое, в семейной жизни чего не бывает? Теперь уже не узнать. На дебош в письме ни намека. Письмо было любовное.

10

Как-то раз под вечер колеся на автобусе по Лондону, я завидела ту самую типографию на Ноттинг-Хилл-Гейт, куда пристроилась бухгалтерша Кэти после банкротства Олсуотера. Мне захотелось глянуть на Кэти. Мистер Уэллс предложил мне стул и просил обождать под грохот станков, пока он сходит за Кэти.

— Я, кажется, помешала, — бормотнула я.

— Да что вы, что вы, мэм. Вы вроде та самая леди, которая порекомендовала нам Кэти? Вроде я помню...

— Да, я ее к вам привела.

— Так вы, значит, миссис Хокинз из «Оллсуотера»?

— Из покойного «Оллсуотера».

— Да-да, печальная история. Но, доложу я вам, миссис Хокинз, вы шикарно выглядите.

— Спасибо, мистер Уэллс, я надеюсь, у вас все благополучно?

— Все отлично. Однако же, миссис Хокинз, вы, уж простите меня, выглядите на десять лет моложе против прошлого раза.

Но мне было двадцать девять лет. И в прошлый раз, получается, я выглядела на десять лет старше?

Мистер Уэллс, старикан, носатый, морщинистый, седой и очкастый, будто сошел со страниц Диккенса. Тем не менее его комплимент так меня взбодрил, что я тут же осознала, какая тоска гнала меня по безликим улицам и неприглядным предместьям Лондона чуть ли не весь этот месяц.

— Спасибо вам, мистер Уэллс.

Кэти явилась, сияя такой благодарной улыбкой, какой отнюдь не требовал от нее данный случай. Перекрывая шум станков, она выкрикнула, что очень-очень рада меня видеть; ее глаза из-под невозможных линз так и влезали ко мне в глаза. Разговор в таком грохоте, естественно, не вытанцовывал-

ся, но время близилось к закрытию типографии, и потому я подождала ее, а потом повела ужинать в недавно открывшийся французский ресторан на Бейсуотер-роуд. Нас препроводили в укромный уголок, подальше от глаз более гламурных клиентов. Меня несколько это не задело, Кэти, взволнованная нашей встречей, вообще ничего не заметила. Меж тем как Кэти квакала своим жутким голосом, то и дело спотыкаясь о препоны чужого языка, я додумывала кое-какие свои грустные думы, исподволь точившие меня весь этот месяц март; мечты о жизни более привлекательной, чтобы водоворот настоящих событий меня затянул, завертел.

Вдруг забыв про гламур, я все свое внимание сосредоточила на словах Кэти — она как раз говорила:

— Помните, рыжий такой, еще в парке вас ловил, все хотел, чтобы мистер Йорк его напечатал, все приставал к вам?

— Гектор Бартлет, — легко догадалась я.

— Ну. Так он теперь таскается к мистеру Уэллсу, чтоб ему что-то там напечатали, а я говорю, смотрите, как бы он вас не надул, мистер Уэллс.

Я решила, что Pisseur исхитряется издавать за свой счет какую-нибудь собственную

писульку, раз в издательство не удастся втереться. Но хитро, осторожно подвергнув Кэти во время еды допросу с пристрастием, мне удалось выведать, что дело-то совсем не простое: никогда еще у мистера Уэллса не бывало такого заказа. Требовалось, выясняется, отпечатать текст в две колонки, как в газете, и на газетной бумаге, чтобы в конце концов все выглядело, как газетная вырезка.

Я терялась в догадках:

— Так он сам это все из газеты перепечатывает? — продолжаю допрос.

— Нет-нет. Он приносит страницу, она на машинке отпечатана. А надо, чтобы получилась газетная вырезка.

— Но для чего ему? Неизвестно?

— Мистеру Уэллсу он рассказывает, что такая теперь якобы мода, такие, выясняется, новые формы. Ну а мистер Уэллс думает, что он сумасшедший, и пусть, он же платит, говорит мистер Уэллс, стало быть, говорит, я печатаю.

Больше мне ничего не удалось из Кэти вытянуть. О том, что меня выгнали с работы за то, что я отказалась доводить до ума творенье Pisseur'a, я предпочла умолчать.

— Чего ж вы не кушаете-то, а, миссис Хоккинз? Половину оставили... — сокрушалась Кэти.

Юная Изобел Ледерер по-прежнему жила с нами на верхнем этаже, только теперь она была на третьем месяце беременности. Сначала она доверила свою тайну Кэйт, потому что та медицинская сестра, потом Уильяму, потому что тот студент-медик, потом Карлинам, потому что те супружеская чета, и, примерно в то же самое время, когда она открылась папочке, она поделилась своей тайной со мной, потому что я — миссис Хоккинз.

Мы сочли, что Милли, все равно же она далеко, не стоит сейчас беспокоить таким известием. Ну и Ванду лучше не посвящать, с ее моралистикой и любовью к истерикам. Итак, Изобел, сообщив о своей беременности пятерым, продолжала беспечно порхать, кажется, рассудив, что теперь это не ее, а наша забота. И в каком-то смысле она была права, ведь сначала она настроилась на аборт. Ну а в те годы — не то что сейчас — не так-то с этим делом было просто, не так безопасно; хоть для папочки с его деньгами — раз плюнуть. Именно с этой идеей на уме Изобел и обратилась к Уильяму и Кэйт. Те — ни в какую. Изобел — к другим. Бэзил Карлин еще сомневался, Ева слушать не хотела. Наконец Хью Ледерер объявил,

что нет, мол, и нет, мол, «только через мой труп»; тут и я сказала свое веское слово: во-первых, это опасно, во-вторых, аморально, в-третьих — мерзко, и от аборта она таки отказалась, зато ее беременность стала всецело нашей заботой. Хью Ледерер, собственно, намеревался сократить число ответственных лиц до двух. И в этих видах сделал мне предложение.

— Изобел будет полезно иметь мать, — объявил этот поразительный человек.

Я могла бы возразить, что ей полезней будет иметь мужа; могла бы прибавить, что в мои двадцать девять лет странновато удочерять двадцатидвухлетнюю особу, тем более делаться бабушкой с места в карьер; могла бы объяснить, что глубоко к нему равнодушна; но я ответила только — НЕТ. И вот мой совет всем-всем: когда к вам подъезжают с просьбой, на которую вы не можете ответить согласием, не пускайтесь вы в объяснения, ничего не доказывайте; на всякий довод отыщется контрдовод. Так что Хью Ледереру я ответила только: НЕТ.

Но еще неизвестно, полезно ли было бы для Изобел занять мужа, по всей вероятности, отца ребенка, потому что она начала темнить всякий раз, как об этом зайдет разговор.

— Вы его любите? — спрашивала Ева Карлин.

— Не знаю.

Ну не знала она, кто этот самый отец. И на третьем месяце беременности, когда из-за неукротимой рвоты не шла поутру на службу, и вечерами, если не была звана на обед или на иное духоподъемное мероприятие, она завладевала нашим вниманием и мало-помалу, постепенно, довела до нашего сведения, что претендентов на отцовство, в сущности, три, причем ни одна из кандидатур, по ее мнению, недостойна стать ее мужем.

Хью Ледерер поручил Кэйт скликать в доме жильцов. Поднимался он по лестнице трудно, тяжело, сам как будто беременный. Встречу назначили в комнате у Карлинов, в самой просторной.

Впрочем, тут мы дали маху: рядом была комната Ванды. Не посвященная в заговор, она, естественно, томила любопытством, по какому такому поводу Карлины, домоседы и отшельники, вдруг закатывают вечеринку. Уильям протопал следом за мной; Ванда выскочила на порог, поглядела. Кэйт спустилась с блокнотом в руке; Ванда срочно шмыгнула в ванную. Я, кажется, усугубила положение, выйдя на площадку и проорав Изобел, что мы все в сборе и пусть она при-

хватит еще три рюмки. Ванда ретировалась в комнату и хлопнула дверью в знак обиды на нас на всех. Я отметила это вскользь, рассеянно: было не до того — срочно встал вопрос о кофейных чашках, так-так, бутылка хереса, бутылка портвейна, рюмки, то-се, и хватит ли стульев, и сколько человек усядется на диване? И мы в первый раз увидим комнату Карлинов, с этой их кухонькой, это же так интересно — одним словом, до Ванды ли тут? Вместе с Изобел, которая снисходит по лестнице, звеня и бренча, с какой-то еще бутылкой и рюмками в объятиях, нас теперь семеро. Но мы умудряемся галдеть так, будто нас не меньше двадцати. Громче всех гудят Хью, Уильям и Бэзил Карлин, но Кэйт ухитряется вставить свое важное сообщение о том, какие льготы и выгоды сулит Изобел государственное здравоохранение.

— Изобел, — отрезает папочка, — не нуждается в государственном здравоохранении с этими их приютами для падших женщин. Я могу приобрести ей квартирку, и если она устроится на хорошее место, скажем, в издательстве...

— Почему бы вам не взять ее к себе, не пожить вместе... — Ева Карлин выходит из кухонного закутка, неся полный поднос закусок, целеустремленно растопырив локти.

Мы усаживаемся, Бэзил Карлин помогает жене ставить бутылки, рюмки, поднос.

— С папой жить? — ужасается Изобел. — Ну, нет уж. Я терпеть не могу Сассекс. Я Лондон обожаю.

— Изобел, — подтверждает Хью, — любит артистов и тому подобную публику. Она любит культуру.

— Но для ребеночка-то — да разве же это жизнь! — кричит Кэйт. — Ваша интеллигенция про гигиену ни хрена не соображает! Без понятия насчет чистоты, вы что! Вот вызывают меня в дом один, всё интеллигенты у них, живут к Холланд-парку впрыток, дык там...

— Не пора ли нам перейти к делу, — предлагает Уильям. Изобел, очень хорошенькая, очень розовая, сияя светлыми волосами, сидит с ним рядом.

— Я высоко ценю, что вы все тут собрались, — произносит Хью. — Ценю, что вы поддерживаете Изобел, подошли ко всему без предрассудков...

— Ты «Чайную церемонию»* смотрел? — спрашивает Уильяма Изобел.

*«Чайная церемония в августе» — комическая повесть Джона Патрика (1951), получившая Пулитцевскую премию. Затем была переделана в спектакль и шла на Бродвее. В 1956 г. по ней снят фильм с участием Марлона Брандо.

— Нет, я в театр не хожу. А что?

— Да так, ничего. Просто мне интересно, если вдруг ты смотрел, как твое мнение. Кстати, посмотри испанские танцы Антонио*. Он выступает в...

— ...и, если я приобрету для нее квартиру, она может нанять няню, чтобы присматривала за ребенком...

— Но вы хотите, хотите, чтобы она вышла за отца ребенка? — перебивает Ледерера Бэзил Карлин.

— Вот и я говорю, — подхватывает Ева, — пусть этот тип на ней женится, и все.

— «Дни юности незрелой»**, — сообщает Уильяму Изобел, — шикарная вещь. А «Чудесный город»*** я пока не смотрела. Билеты все...

— Послушай, Изобел, — вместо ответа спрашивает у нее Уильям, — ты лучше скажи нам, кто отец ребенка. Нам интересно.

— Да-да, скажи, — присоединяется Хью.

Почему он до сих пор с глазу на глаз у нее этого не выяснил, ума не приложу. А впро-

*Антонио Руиз Солер (1921–1996) — испанский танцовщик, мастер фламенко.

**«Дни юности незрелой» (Salad Days) — мюзикл Джулиана Слейда.

***«Чудесный город» — комедийный мюзикл Леонарда Бернстайна.

чем, я уже замечала, что близким людям вообще-то легче бывает обсуждать сугубо личные дела при свидетелях. И Хью Ледерер убежден, очевидно, что в этом деле замешан только один мужчина. — Нам будет проще, если ты скажешь, кто он такой.

Изобел, будто играя в чьей-то гостиной в загадки-отгадки, тотчас предъявляет ключ:

— А-а, это какой-нибудь мальчик с Флит-стрит, не то из какого-нибудь издательства. Сами знаете, навешают тебе лапши на уши, с три короба наобещают, ну ты с ними и спишь, как дура, а потом оказываются, что ни про какую работу в издательстве они слыхом не слыхали, хотя, между прочим, надо им отдать справедливость, устроиться на работу в издательстве очень даже трудно. Только папа никак не поймет.

— То есть, если я вас правильно понял, они не предохраняются? — в ужасе кричит потрясенный Бэзил Карлин.

— Моя дочь не обязана публично отчитываться в подобных деталях, — осаживает его Хью.

Тут я вспоминаю, что говорил мне Хью Ледерер тогда в «Савое»: Гектор Бартлет, один из друзей Изобел, он обещал найти для нее работу в издательстве. Ужаснувшись при мысли, что он может оказаться отцом ребе-

ночка Изобел, я единым духом опрокидываю весь свой херес, забыв половину оставить. Я ору:

— Но ведь это не Гектор Бартлет, нет?

— Нет, — говорит Изобел. — Не он. Хотя ему лестно думать, что он отец. Я с ним переспала разок, он обещал меня устроить в издательство. Но это когда-а еще было, так что это не он, нет. Он бы рад на мне жениться, якобы он отец; он месяцами тут ошивался.

Эти последние слова я отметила, не вникая. Так часто бывает: мы пропускаем мимо ушей самое важное из того, что нам говорят, вникая во второстепенное. Я усвоила только, что Pisseur не прочь жениться на Изобел, и пропустила мимо ушей то, что «он месяцами тут ошивался».

— Ты, конечно, не выйдешь за этого человека, — я говорю.

— Да я ни за кого из них не выйду, — говорит Изобел.

— Справедливо, — скрепляет Хью.

— Но что это будет за жизнь для ребеночка! — ужасается Кэйт. — Нет, лучше отдайте вы его в хорошие руки. Ему приличную семью нужно.

Я высказываюсь в том смысле, что идея отдать на сторону ребенка слишком печаль-

на, тут и обсуждать нечего, тем более когда и речи не может быть о материальных лишениях. Изобел согласна:

— Очень мне надо терпеть все эти страсти, а потом с носом остаться, чтобы и предъявить нечего.

Кэйт вызывается подыскать квартиру для Изобел. Уильям записывает на листочке фамилию гинеколога. Ева Карлин, поразмыслив, решает, что Изобел не должна выходить замуж без любви. Бэзил Карлин требует от Хью Ледерера торжественных заверений, что тот убедит свою дочь впредь не сбиваться с прямого пути. Я соглашаюсь стать крестной. Изобел выкрикивает, что пока не смотрела «Звезда родилась»*. Стоящая вещь? Хью Ледерер объявляет, что высоко ценит нашу дружбу с Изобел и надеется, что так будет и впредь. Заседание окончено. Мы расходимся, полные, как никогда, расположения друг к другу.

— А шикарная крестная из вас получится, миссис Хокинз, — говорит Хью.

Ванда перехватила меня на площадке у самой лестницы.

— Миссис Хокинз, а, миссис Хокинз.

*«Звезда родилась» — американский музыкальный фильм (1954) с Джуди Гарленд в главной роли.

Во мне еще не перебродил херес, я еще не переварила закусок, и пестрый шум нашего сборища еще стоит у меня в ушах, еще я не оторвалась мыслью от Изобел и трясущегося над нею папаши. Я, кажется, ничуть бы не удивилась, если бы Ванда, преградив мне путь и повторяя мою фамилию, потребовала, чтобы я срочно пристроила ее на работу в издательстве.

— Да, Ванда, вы что-то мне хотели сказать?

— Миссис Хокинз, вы *должны* со мною поговорить. Вы *должны* войти ко мне в комнату. — А сама с безумной серьезностью наклоняется при каждом слове, отключивая зад. Глянула направо, глянула налево и попятилась к себе, знаком подманивая меня.

— Вы что-то затеваете, миссис Хокинз, — говорит. — День целый вас дома нет. И не морочьте мне голову, что это вы на работу уходите, я-то знаю, что с работы вас попросили. Вас с утра где-то носит, и с кем-то там вы встречаетесь, а теперь еще у меня под носом с другими жильцами устроили сходку, чтобы порочить мое имя. Вы против меня строите козни. Мой бокс — да я на нем ни пенса не заработала. Исключительно оказываю услуги. Больным помогаю.

Вандин бокс теперь стоял неприкрытый, на виду. И была при нем какая-то пачка карточек, и печатный буклетик, весь в таблицах. И больше ничего я с беглого взгляда не разобрала. Я не собиралась оспаривать дикие фантазии Ванды. Я стояла и смотрела на нее. Чем больше я узнавала про эти боксы, тем больше убеждалась, и сейчас я убеждена, что все они яйца выеденного не стоят. Да, но чем лучше мой судорожный Ангелус, кровь из носа, ровно в полдень, под бой часов? Я стояла и смотрела на бедную Ванду; ужас, до чего она себя довела! И тут я решила — отставляю этот свой полуденный Ангелус; в конце-то концов, разве сводится к нему моя вера; этот неприменный Ангелус стал для меня просто-напросто суеверием, пред-
рассудком, да?

— Миссис Хокинз, вы что-то против меня затеваете в этом доме. Разве я виновата, что вы болеете? Вы сохнете, вы чахнете, вы скоро умрете.

— Ванда, я прекрасно себя чувствую. Но почему бы вам не повидать священника? Утром я первым делом позвоню отцу Станиславу, и...

Мои слова оборвал дикий вопль, этот типичный Вандин взвой, будто бы одним толь-

ко упоминанием имени знакомого ксендза я ее как ножом полоснула. Отец Станислав был маленький, добродушный седовласый очкарик, и в доме все его знали, потому что год назад примерно, когда Ванда заболела и слегла, он к ней зачастил. И вот теперь она сидит на постели и воет. Я поскорей ретировалась. Нет, ей-богу, без Милли просто невозможно тут жить. Карлины отворили дверь.

— Обычный приступ, — сказала я.

— Снова письмо?

— Нет, непохоже. У нее срыв, и я понять не могу, что она говорит.

Ванда затихла у себя в комнате. Ева к ней постучалась:

— Ванда, может, вы бы чашечку чая выпили?

Ванда открыла дверь. И как заорет:

— Вон, вон отсюда, и плетите свои мерзкие козни, всем, всем говорите, что я спятила. Что вы на меня донесете ксендзу. Что сестра и друзья от меня отрекутся. Разве я виновата, что миссис Хокинз умирает?

— Я принесу вам чашечку чая, — сказала Ева Карлин.

Я поднялась наверх. Кэйт и Уильям смотрели вниз поверх перил.

— Что там творится?

— Не знаю. Ей успокоительное необходимо, у вас не найдется, Кэйт?

— Есть-то оно есть, но я не имею никакого полного права его раздавать без рецепта врача.

— Я дам, — сказал Уильям.

Но Ванда никому уже не открывала.

Уильям пытался ее уломать, потом рукой махнул, поднялся по лестнице и постучался ко мне.

— Можно?

Мы посидели, поговорили про Ванду.

— Что-то я скисла, — сказала я.

— Ей нужно обратиться к специалисту, — сказал Уильям. — А вы, миссис Хокинз, скисли потому, что не живете половой жизнью. Скиснешь тут, если в вашем возрасте обходиться без секса.

При упоминании о *такой* шоковой терапии, я насторожилась, но тут он вдруг спрашивает:

— Между прочим, вас так и крестили «миссис Хокинз», да, миссис Хокинз?

— Нет, — отвечаю, — крестили меня Агнес. А вообще-то зовут меня Нэнси.

Так что ночь я провела с Уильямом, на своей односпальной кровати, и ни о чем-то, ни о чем уже я не думала, только о нас двоих.

Вот мой совет каждой женщине, заслужившей репутацию деловой, успешной особы, — не выставляйте вы своих доблестей напоказ. Вы даете совет; говорите — делай то-то, не делай того-то; вот увидишь, я на днях подыщу тебе хорошее место, не суетись, целиком положишься на меня. Ну, и все такое; и в результате — вы скисли, внутри у вас пустота, у вас расшатались нервы. Но если вам захочется выпутаться, отвязаться от взятых на себя обязательств, все вокруг негодуют. Вы вышли из роли. Ваши подопечные вне себя.

Часто я раздумываю о том, что случилось бы с моей жизнью, если бы Уильям не снимал жилье на верхотуре дома № 14 по Саут-Кенсингтону, в меблированных комнатах Милли, бедненьких, но опрятных, ныне усовершенствованных, перекроенных для нужд богачей, превращенных в шикарные покои, которые и во сне не могли присниться студенту-медику, медицинской сестре и прочей шушере, какой мы всем скопом были тогда?

Наутро, в полдесятого — Уильям ушел на лекции — внизу зазвенел звонок. Я, в халате, спустилась на два пролета. Обычно я одета, готова к выходу уже в восемь часов, но сегодня — дело другое. На проводе была Эмма

Лой, чаровница, волшебница, умевшая кротко забыть все обиды, какие она вам причиняла.

— Миссис Хокинз, мне нужна ваша помощь, — проворковала она так, будто вовсе и не по ее милости я лишилась двух мест подряд.

— Мне кажется, мисс Лой...

— Ради Бога, зовите вы меня просто Эмма.

— Вряд ли я хоть кому-то могу помочь в настоящее время.

— Но, миссис Хокинз, вы же у нас столп силы, как-то так, это, конечно, цитата.

— В чем у вас затруднение, Эмма, — спрашиваю.

— А может, мы встретимся, поговорим.

— А может, вы знаете о какой-нибудь работе для меня? О работе в издательстве?

— Миссис Хокинз, мне кажется, вы просто не разобрались в ситуации. Честное слово, я не хотела, чтобы вы ушли от «Макинтоша и Тули». А с другой стороны, поверьте мне, моя милая, между нами говоря, вам и без них неплохо. Может, мы пообедаем вместе в «Плюще»?

— Сегодня?

— Допустим.

— Сегодня я не могу.

— Ах, вы не можете?

— Ну да, сегодня я обедаю со своим другом.

Я сказала ей чистую правду. Я условилась с Уильямом встретиться у Эй-би-си, на Олд-Бромптон-роуд.

— Миссис Хокинз, — говорит Эмма, — я прекрасно понимаю ваше состояние. Не зря же я романы пишу. Если бы вы только выслушали меня! Я сама угодила в жуткий переплет. Я была бы очень вам благодарна, если бы вы уделили мне хоть часочек, хоть полчасика своего — да разве же я не понимаю! — драгоценного времени...

И я согласилась встретиться с ней в шесть, в «Гросвенор-хаузе» на Парк-лейн. Не стану врать, я готовилась к нашей встрече с трепетом, который Эмма ухитряется внушить всем и в каждому. Правда, кое-кто говорит о ней с сожалением, но покажите вы мне хоть одного человека, который бы по своей доброй воле отверг ее просьбу о встрече.

Не успела я положить трубку, ко мне подскочила Ванда.

— Кто это, миссис Хокинз?

— Так, подруга одна, — и, кажется, голос у меня был не слишком любезный. Я побаивалась, что психическое расстройство заразно. Ванда в последнее время переменялась, была уже не та сердобольная Ванда, приве-

чавшая всех, кто хотел пригнать по фигуре или переделать по моде какое-нибудь старье. Да у нее, кажется, и клиенток теперь почти не осталось, раз-два и обчелся.

— Вы говорили с отцом Станиславом. Я слышала.

Страх у меня был нелепый, но испугалась я не на шутку. Возможно, у меня был виноватый вид; кажется, я от нее попятилась.

— Нет, Ванда. Вам надо обратиться к доктору.

— Еще чего! Вы с моими врагами снюхались, это они считают, что я рехнулась. Вы козни строите. Все в этом доме мечтают, чтоб доктор меня упек куда подальше.

— Почему бы вам сперва не повидать отца Станислава?

С диким воплем она ринулась наверх, к себе.

Мы сидим с Уильямом на Эй-би-си, он съел свой сэндвич и приступил к моей отринутой половине. С Ульямом я чувствую себя — и всегда чувствовала — совершенно легко и свободно.

— Сегодня с Вандой опять неладно, — я говорю, — вбила себе в голову, что мы в заговоре против нее.

— Ну, — Уильям говорит, — в результате мы и правда против нее кое-что умышляем. Хоть бы она доктору показалась.

— Или священнику. Есть такой отец Станислав, ксендз.

— Так приволоки его к ней, и все, и забудь про нее, — говорит Уильям. — Слишком много ты на себя навьючиваешь. Оставь хоть что-нибудь специалистам.

— Знаешь, хочется как-то пристроить Ванду, пока Милли не вернулась. Мне Милли жалко, — говорю.

— Нам бы самим пристроиться, пока Милли не вернулась, — он отвечает.

— В смысле?

— Надо квартиру снять. Маленькую такую квартиру, на паях.

Это соображение мне показалось ясным и очевидным; таким очевидным, что я даже удивилась отсутствию сложностей и преград. Я привыкла к преградам. Я сказала:

— А мы не слишком торопимся?

— А сама-то ты как считаешь, Нэнси?

— Мне бы сперва работу найти.

— Ну так приищи квартиру. Ты же деловая, успешная женщина, миссис Хокинз.

— Чутьочку я устала от этой успешности.

— Знаю, — он говорит. — А ты не взваливай на себя чужой мороки, наплюй на все обязательства, какие взяла на себя, на все наплюй, кроме меня. Вот тебе мой совет. Ты классно выглядишь.

— В парикмахерской была, — говорю.

Потом я пошла в костел на Бромптон-Орэтори, и после многих расспросов, дожидаясь, пока ответ дойдет до меня, переходя из уст в уста, от ксендза к ксендзу, я раздобыла наконец телефон отца Станислава. Я почему-то ужасно измаялась от всей этой суетни, и на то, чтобы ему позвонить, у меня уже пороху не хватило. Тут мне вспомнилась одна байка, как-то мне рассказал ее один провинциал: ну так вот, пригласили его на ужин в дом девушки, которую он любил, и он очень волновался. А вечером зарядил дождь. И никак он не мог отыскать дом; сперва сгоряча сунулся в Олдингтон-Уэй вместо Олдингтон-Гарденс, потом от волнения бесплодно шлепал по всем стрит, авеню и террас, вдоль и поперек их истоптал, наконец, стал тормозить встречных, те, как водится, отсылали его не туда, наведывался в овощные лавки, к табачнику, пока не набрел на дом № 10 по Олдингтон-Уэй; без сомнения, это был тот самый дом, и на двери — табличка с фамилией, и свет сквозил за шторами. Но он так и не позвонил в дверь. Повернулся и пошел прочь, и никогда уже больше он не видал ту девушку.

Ну так вот и я тоже, на последний рывок меня не хватило. Клочок бумаги с телефо-

ном отца Станислава лежал у меня в сумке, а между тем я раньше времени поплелась в «Гросвенор-хауз». Сперва я прихорашивалась в дамской уборной, придавая себе товарный вид, потом вышла оттуда и стала ждать Эмму Лой.

Сама бы я ни за что не выбрала «Гросвенор-хауз» для серьезного разговора. Вокруг толклись разодетые, раздушенные дамы и девчонки в мехах, и платья на них были донельзя утянуты в талии, а на бедрах вздуты парашютами; мужчины, одетые уж слишком по моде, с такими гиперболическими плечами, до каких бы ни за что не додумалась простодушная мать-природа; явно, стилиаги, как мы вскоре после войны окрестили этих оболтусов. И среди стилиаг, их девок — робко озиралась пожилая чета, с потертыми сумками, по-деревенски одетая, с дождевиками через плечо, ошарашенная этим дивным новым миром. Распорядитель оттиснул их в укромный уголок, подальше от взоров Эммы Лой, явившейся в колыханье мехов, прелестной в элегантном сером платье, с жемчугами на шее.

— Миссис Хокинз, какая прическа, чудо!
И вы похудели, вам идет!

— Вы тоже замечательно выглядите.

Мы заказали джин с тоником.

— Потрясающая публика, — сказала Эмма, озираясь. Она мигом поняла, что сгруппировалась, назначив мне свидание здесь. — Лучше бы нам посидеть, где потише.

— Нет, почему, тут интересно, — сказала я. — Я никогда такого не видывала.

— Я тоже, — сказала Эмма. — Наверно, мне как писателю нужны новые впечатления. Но углубляться в них никакой писатель не обязан; достаточно беглого взгляда.

Я себя вдруг почувствовала виноватой, будто бы не она, а я выбрала это место. Но она умела-таки читать чужие мысли, эта Эмма Лой, а потому прибавила:

— Мне следовало бы выбрать что-нибудь поприличней. Что ж, постараемся расслабиться и получать удовольствие.

Нам принесли нашу выпивку, Эмма принялась за орешки. Погодя она спросила:

— Миссис Хокинз, за что вы так ненавидите Гектора Бартлета?

— Ах, да вы не беспокойтесь, пожалуйста, — сказала я. — Он сам по себе, я сама по себе. Я же теперь не работаю в издательстве. А его хлебом не корми, дай только на ком-то поездить.

— Ну, если вам нужна работа в издательстве, вы, по-моему, всегда можете рассчитывать на меня. Не сейчас, конечно, в дальней-

шем. Но я хотела о Гекторе поговорить. Вы ужасно, ужасно его обидели, миссис Хокинз. Мне кажется, все началось прошлым летом, в одно прекрасное утро... — начала писательница. — Он встретил вас в парке, вы шли на работу. Гектор так обрадовался. Утро в парке было дивное. То ли это Грин-парк был, то ли Сент-Джеймс, одно из двух... Он так восхищался вами, вашей добротой и заботой о людях. И вдруг, ни с того ни с сего, вы его кроете этим чудовищным прозвищем... — она понизила голос, — *Pisseur de copie*. Да знаете ли вы, что это значит для писателя, как это его ранит? Попробуйте взглянуть на это по-человечески.

Я упивалась ее риторикой. Мне открывались совершенно неожиданные грани Эммы Лой. Она говорила вещи, которых ни за какие коврижки не вставила бы в свой роман, которых и в страшном сне не скрепила бы подписью. А тон, а тон — да Эмма ли произносит все это? И бессмысленный штамп — «взглянуть на это по-человечески», — можно подумать, я принадлежу к другому виду приматов и меня следует подтянуть, выдрессировать, очеловечить для моей же пользы, но в таком случае, низко же она ставит мои умственные способности; или она переуто-

милась, не в форме сама; правда, я и раньше замечала раз-другой, что умнейшие, тончайшие авторы часто впадают в банальность, в косноязычие под бременем подлинной, несочиненной судьбы. Я решила потягивать джин с тоником и помалкивать — пусть она выговорится.

— Поймите, — говорила Эмма, — на той неделе я еду в Штаты и там, видимо, на какое-то время застряну. Мои книги там пользуются успехом. Но прежде чем уехать, мне хотелось бы уладить ваши отношения с Гектором. Как я могу с легким сердцем уехать, зная, что вы, едва устроитесь на работу в издательство, объявите, что он (понизив голос) *Pisseur de copie*? Это очень обидное прозвище. И все это так на вас непохоже, миссис Хокинз.

Она говорила, я слушала, напустив на себя небрежный вид; по моему замыслу, он должен был означать, что я слушаю ее вполуха. Мне тем легче это давалось, что прежнюю шушеру постепенно сменяла более элегантная, вечерняя публика. Приходили в вечерних платьях, группками, парами, юные и постарше, в основном красивые, сплошь довольные.

Я оторвала взгляд от их текущей череды, перевела на Эмму Лой и сказала:

— Что бы вы ни предложили взамен, более, по вашему мнению, подходящее, я готова тщательно рассмотреть.

— Не слишком ли вы строги?

— А вам ведь легче станет, когда вы от него отделаетесь, мисс Лой.

— Зовите меня Эмма, пожалуйста. Я знаю, вы держитесь за свою «миссис Хокинз», что вам, кстати, к лицу. Это ваш выбор. О вкусах не спорят. И с чего вы взяли, что я хочу отделаться от Гектора. Я очень буду о нем скучать в этой самой Америке. А знали бы вы, как он обожает мои книги! Декламирует все мои произведения наизусть. Любое место вам процитирует. Потрясающе.

— И что же? Правильно процитирует?

— Нет. В основном, честно говоря, переврет. Меня он просто боготворит. Это так, между нами. Но я надеялась с вами поговорить по душам.

— Ой, какой цвет прелестный, оранжевое шифоновое платье, смотрите, вон там, там, на той девушке.

Эмме оставалось признать, что да, в самом деле, цвет изумительный. И — тяжелело молчание.

Наконец:

— От ненависти до любви один шаг, — сказала Эмма.

На мгновение я призадумалась.

— Да, возможно, на континенте, — сказала я. — Или в Латинской Америке. Но вы сами лучше меня знаете, мисс Лой, что у нас на острове ненависть и любовь — сугубо, так сказать, перпендикулярны. Это даже не антонимы. Любовь, с моей точки зрения, идет от сердца, а ненависть рождается в основном из принципов.

— Уж чересчур вы британка, — вздохнула Эмма. И тут только — я поняла по ее голосу — до нее дошло, что она избрала со мной совершенно неверный тон. Я ответила ей, что в этом нет ничего удивительного, ведь я родилась и воспитывалась в Британии. Потом я обвела взглядом вечерние туалеты:

— Признаюсь, у меня глаза болят от этого блеска.

И я сгребла свою сумку и перчатки.

— Да-да, мы отсюда уходим, — сказала Эмма. — Но знаете, миссис Хокинз, время идет, вам пора призадуматься о своем будущем. Не хотите же вы остаться вековухой.

Я снова плюхнулась на стул и сказала, что ее шансы сплавить Гектора Бартлета мне равны нулю.

— И если он когда-нибудь попадетсЯ мне на глаза в издательстве, я срочно перейду на

другую работу. Я остаюсь при своем убеждении: он Pisseur de copie.

— Клевета, — вскрикнула Эмма. — Он может на вас в суд подать.

— И пусть подает, на здоровье.

— Но он, кстати, без всяких издательств попадетсЯ вам на глаза. Понимаете, мне до отъезда в Штаты хочется убедиться, что Гектор пристроен. И мне странно: не хотите же вы сказать, что совершенно его не видите. А меж тем он массу времени проводит с женщиной, которая живет с вами в одном доме в Саут-Кенсингтоне. Вы же видите, как он приходит, уходит, вы же в курсе.

Но я, собственно, не так уж много времени бывала дома. Целый день меня не было, а по вечерам я торчала у себя наверху или на кухне у Милли.

Я решила, что Эмма имеет в виду прежнюю связь Гекора с Изобел, но едва ли Изобел услаждает его у себя на дому. Толкутся в доме только клиенты Ванды, хоть в последнее время их кот наплакал, уже они не теснятся на площадке перед ее дверью, в очереди на примерку. А у дверей Изобел я вообще оживления не замечала. Видно, она где-то еще обделывает свои дела.

— Да нет, — сказала я Эмме, — у них с этой девочкой шапочное знакомство.

— Что еще за девочка? — вскинулась Эмма, да так, что я наострила уши.

— Которая живет в доме вместе со мной. Она знакома с Гектором Бартлетом, но это шапочное знакомство.

— А-а, так вы намекаете на эту, которая беременна и хочет спихнуть ребенка на Гектора?

— Насколько мне известно, она ни на кого не хочет ничего спихивать, тем более на вашего Гектора.

— Я совершенно по-другому про это слышала, учтите, миссис Хокинз.

— Бог знает, как вы про это слышали, мисс Лой. Да это не наше с вами дело, помоему.

— Но речь совсем не об этой девочке, — сказала Эмма.

— А мне показалось, о ней.

— Да нет. Речь о женщине, с которой он познакомился прошлой весной. Познакомился через ту девочку, это да. Он купил выходной костюм, ношенный костюм, бедняжка, для какой-то okazji, и пришлось его подгонять по фигуре. А женщина эта портниха, и не говорите мне, что вы ничего не знали. Как писатель я нахожу эту историю очаровательной, миссис Хокинз. Какие тонкости, какой простор для трактовок.

Эмму Лой, я видела, всерьез увлек этот сюжет. Я всегда, честно сказать, чувствовала себя польщенной, когда Эмма со мной разговаривала «как писатель», обычно она приберегала эту струнку для авторов своего пошиба, для разговора на равных, или для избранных журналистов, которым изредка соглашалась дать интервью.

— Какая масса возможностей, масса дивных ходов, — размечталась Эмма. — Началось это прошлой весной...

— Значит, вы имеете в виду Ванду Подолак, — я сказала. — А я понятия не имела, что она знакома с Гектором Бартлетом. — Снова я скомкала свои перчатки. — Что же, дай Бог ей поскорей от него отделаться, несмотря на все дивные ходы и тонкости. Да что у них общего с Вандой? Женщина она бедная, слабая. Вообще-то не представляю, с кем бы он мог поладить, тем более на что ему сдавалась бедная портниха?

В уме у меня засело, что Эмма, пытаясь вызвать мою ревность, туманно намекает на невыразимую прелесть Гектора Бартлета. Ей надо его сбавить.

— Вам правда нужно идти? Может, пошли бы еще куда-нибудь перекусить? — предложила Эмма.

Я поблагодарила, сказала, что мне пора. По пути к выходу Эмма сказала:

— Так я толком и не объяснила вам ситуацию. Еще подумаете, что я нарочно напускаю туман.

— Вы хотите сбыть Гектора Бартлета мне на руки, — ответила я.

— Ну почему же именно вам. Но это был бы выход. А вам придется отказаться от вашего милого наименования.

— Чушь какая, — сказала я.

— Подбросить вас на такси?

— Спасибо, я лучше пройдуся.

На улице Эмма сказала:

— Каких только Гектор не предпринимал дурацких шагов, чтобы завоевать ваше расположение, чтобы вы отказались от этого дикого прозвища. И если вы, миссис Хокинз, хотите получить работу в издательстве и, главное, ее сохранить...

— Гектор Бартлет, — я сказала, — *Pisseur de copie*.

Я с наслаждением повторяла эти слова; я их смаковала. Эмма на меня глянула, улыбкой показывая, что на сей раз она меня поняла.

К ресторану подкатило битком набитое такси. Прежде чем Эмма успела его застолбить, я ей предложила:

— Дали бы ему денег, он бы от вас отвязался.

— Он их потратит на то, чтобы увязаться за мной в Америку. Вечная история, даешь им деньги, чтобы они отвязались. А эффект выходит обратный, — вздохнула Эмма Лой.

Давно пошел восьмой час. Парк-лейн запрудили машины и пешеходы. Стал накрапывать дождь, протянулись длинные очереди к автобусам, а я пошла пешком — решила, что лучше промокнуть, чем томиться в длинном хвосте к автобусу, а потом задышаться в его душном, парном нутре. Идя домой по Парк-лейн, по Найтсбриджу, Бромптон-роуд, я чуть ли не всю дорогу гадала — ну как же так вышло, что я ни разу не столкнулась с Гектором Бартлетом на лестнице, на площадке, и правда ли, что он вечно ошибается у нас в доме. Ну, предположим, он шапочно знаком с бедной Вандой, но нет, Эмма, конечно, преувеличивает, и эти ее таинственные речи, ее роковые намеки основаны на тщетной надежде как-то пристроить Гектора, чтобы сама она могла удрать от него, с его претензиями, с его знанием Эмминых книг наизусть, с неприятностями, которыми неминуемо грозят его поползновения прибрать Эмму к рукам, — а ведь уже этим попахивает.

Только через двадцать лет Pisseur'a провало пакостными статейками про Эмму, а через тридцать он разразился мемуарами, где вывел Эмму в таких тонах, что эта книжица легко могла стать бестселлером, если бы у кого-то хватило пороху дочитать ее до конца. Его творческие фантазии об их жизни с Эммой тогда были уже широко известны; она плевала на них, как плевала на самого Pisseur'a, и он бесился все эти годы и начал беситься уже до или вскоре после того, как она сидела со мной в «Гроссвенор-хаузе» и пыталась сбыть его с рук. Мне кажется, она уже тогда его побаивалась, уже тогда ей в приступе гениального прозрения открылось, как опасно якшаться с ним.

Прошлепав по лужам к дому, вымокнув до нитки, я решила, что Гектор Бартлет, скорей всего, видел Ванду только однажды, когда принес ей свой злополучный костюм. Ну хорошо, положим, рассуждала я, он приходил на примерку несколько раз. Надо будет у Милли спросить, когда вернется, не помнит ли она типа с такими приметам.

Хотя — по долгим моим наблюдениям — мы склонны замечать только то, что хотим заметить. До Вандиной клиентуры мне не было дела, и я не бывала дома с утра до вечера все будние дни. Меня беспокоило со-

стояние Ванды; я предвидела суету и мороку, а когда заглянула в сумку, чтоб достать ключ от подъезда, увидела клочок бумаги с телефоном отца Станислава. Ах, какая жалость, что я ему не позвонила. С меня лило в три ручья.

Я вошла в подъезд и сразу почуяла: в доме неладно. Поднимаясь по лестнице, я увидела распахнутую Вандину дверь. И в комнате голоса, и, как видно, тут не суета и морока, дело, как видно, серьезное. Видно, Ванда совсем разболелась.

Я поднялась на площадку, Уильям вышел ко мне навстречу, за ним Кэйт.

— Что случилось? — вскрикнула я.

— Не зайдешь на минутку? — спросил Уильям. Карлины тоже оказались в Вандиной комнате. Тут же стоял человек в просторном плаще и девушка официального вида, хотя была не в форме, а в простом темном пиджаке и юбке. Ванды не было.

Я вскрикнула:

— Что-то случилось?

— Да, — сказал человек в плаще. — Похоже, случилось.

— Это полиция, — объяснил мне Уильям. — Ванда утонула.

Было почти восемь часов.

— Около семи часов, — объяснял человек в плаще, полицейский инспектор, как выяснилось, — миссис Подолак бросилась в Риджентс-канал; вытащили ее, да поздно. Тут ничего не попишешь, — вздохнул полисмен. — Кому такое взбредет в голову, за тем не уследишь.

Нашли Вандину сумку, там были документы, по ним выяснили адрес. Пришли посмотреть, не оставила ли она предсмертной записки, и разузнать, где можно найти ее ближайших родственников. Меня он спросил, не водилось ли за Вандой странностей, каких-то симптомов.

Я сказала ему, что в последнее время были у Ванды странности. Но о самоубийстве она даже не заикалась. Как видно, все это полисмен уже раньше узнал.

— А эти анонимные письма? — спросил он у меня. — Не представляете, кто их писал?

— Не знаю. Мужчина какой-то, — сказала я. — Потому что потом он звонил, она узнала голос.

Мне просто не верилось, что такое могло случиться, я так и сказала полисмену.

— Подобные происшествия... — начал полисмен, и официальная девушка кончила

фразу, — ...всегда тяжело отражаются на окружающих.

— Она была католичка. Я хотела позвать к ней священника, она ни в какую. Ревностная католичка. Кто мог от нее ожидать такого. А я-то как раз собиралась звонить ксендзу, просить, чтобы к ней пришел.

— Католичество не помеха, когда сдают мозги, — вздохнул полисмен. Судя по его ирландскому выговору, он знал, о чем говорит.

Я вспомнила про клочок бумаги у себя в сумке. Я могла бы, я могла бы успеть.

— Такой бардак в комнате, ой, ну вы что, сразу видно, крыша у ней поехала, — шепнула Кэйт. — Я прям в шоке, ах ты, бедолага.

— Портнихи всегда неопрятные, — встала Ева Карлин. — Слава Богу, она хоть не в доме такое учинила. Вот несчастная.

Бэзил Карлин сказал:

— Анонимных писем давным-давно не было. Чуть ли не с тех пор, как она с подоходным налогом дело утрясла. Я это к тому веду, что вряд ли это она из-за писем. Бедняжка!

— Кто-нибудь может мне подсказать какой-то мотив? — взывал инспектор.

— Мотивы самоубийства, — сказал Уильям, — бывают самые пустяшные, а то и вовсе отсутствуют. Мы в институте рассматрива-

ли такой случай: из-за скандала в прачечной — у парня подштанники потеряли — он отравился газом.

Инспектор согласился:

— Само собой, часто преступление на лицо, а мотив пустяшный.

Всех кольнуло слово «преступление»; неужели о трагедии Ванды можно говорить в таких терминах?

Дикая мысль метнулась у меня в голове: а вдруг ее столкнули. Наконец я выговорила:

— А вы уверены, что это было самоубийство?

— Так ведь свидетели видели, как она скакнула. Взыла, взвизгнула, что ли, отбросила сумку и скакнула в канал. Вытащить-то ее вытащили, да поздно.

Я рассказала все, что мне было известно о Вандиной родне. Три сестры в Польше, одна вышла за шотландца, там у него и живет. Нет, шотландского адреса я не знаю. Может, какие-то родственники в Лондоне...

Все испуганно что-то бубнили, щедро кропя показания горестными восклицательными знаками. Мне казалось, что мы как бы нарушили Вандин покой, вломившись к ней в комнату, да еще с двумя чужаками. Мокрая одежда противно липла ко мне.

Потом, ближе к ночи, полиция прислала еще людей — обыскать Вандину комнату. Адрес сестры нашелся, анонимных писем и след простыл. Вердикт: самоубийство на почве психического расстройства.

12

У меня в ушах еще стоял вчерашний утробный взвой Ванды, когда я ей сообщила, что намерена позвонить отцу Станиславу. А какую сцену она мне закатила после нашего собрания у Карлинов по поводу Изобел! Тогда все это слилось в общее впечатление: Ванда, бедная, сорвалась с катушек. «Ей лечиться надо, — сказал тогда Уильям. — Срочно обратиться к специалисту». И как она разнервничалась, когда я сегодня — сегодня еще — говорила по телефону с Эммой Лой; решила, что я говорю про нее с отцом Станиславом; и этот ее вопль, когда она бежала вверх по лестнице; и никогда я больше не увижу ее, никогда не услышу. Боялась, бедная, явно боялась кроткого отца Станислава или того, что он отстаивал; боялась, как бы кое-что не разоблачилось.

«Мотивы самоубийства часто бывают пустяшные», — сказал Уильям. Для нас пу-

стяшные, но не для них, совсем не для них. И как же мало я знаю Ванду, тем более ее душу. И как странно, что Эмма Лой рассуждала со мной о Ванде в тот самый миг, может быть, когда та, в последний раз захлебнувшись своим этим взвоем, прыгнула в черную, ледяную воду канала. «Мотивы пустяшные...» Но не для Ванды, совсем не для Ванды.

Вот не помню, забыла начисто, что я делала, что говорила в ту ночь после того, как ушла полиция, в ночь Вандиной смерти.

Кто-то позвонил Миллиной дочери в Корк — сообщить о случившемся. Милли сама перезвонила, попросила меня.

— Может, в Корке переждете, пока все уляжется, а, Милли?

Об этом Милли и слушать не хотела. Она не стала уж очень скорбеть по Ванде. «Это ж нахальство какое у женщины! — возмущалась она. — Прямо из моего дома в воду скакнуть! Мне только этого не хватало!»

Почему — непонятно, но мне сразу облегчало от этих слов. В Миллиных умозаключениях всегда сквозила отвага. Я тут же стала мечтать о том, чтобы она поскорее приехала.

После дознания и похорон сестра из Шотландии явилась за Вандиными пожитками.

Остальные жильцы отсутствовали, ушли на работу. Я ввела ее в комнату, предложила свою помощь. Она отнекивалась, говорила, что сама управится, но я видела, что она не в себе, как в тумане, возьмет что-нибудь и положит на то же место. Вылитая Ванда, разве что посмуглей. Звали ее Грета; она говорила с легким шотландским акцентом.

Ну вот, и мне пришлось ей напомнить, что не все сваленное в комнате барахло принадлежит Ванде. Что-то принадлежит клиентам, и, вообще говоря, мы уберем себя от ошибок, если будем исходить из того, что только вещи, которые разложены по чехлам, или висят в шкафу, или лежат на полках, Вандины вещи. Но мало этого, иной раз Ванда вешала в шкаф платья своих дам; так что придется судить по размеру. И придется обождать — я говорила, говорила, — пока клиентки не явятся за своими вещами.

— Тут не только дамское, — сказала Грета, листая стопку одежды.

— Ну да, — говорю, — она прекрасно подгоняла мужские костюмы. За ними тоже явятся.

— А эти фотографии на камине, — сказала Грета.

Села и разрыдалась.

— И постель даже не застелена, — всхлинула она и подняла с полу стоптанные Вандины тапочки.

— Фотографии точно Вандины, — сказала я. — Поищите пустой чемодан и начинайте их складывать. А я пойду за газетой какой-нибудь, чтоб их заворачивать, и заодно вам чайку принесу.

Ох, эта печаль — в последний раз перебирать пожитки, сортировать, паковать — еще тяжелей похорон; на похоронах, по крайней мере, есть свой ритуал и слова, гроб имеет форму, и положеную глубину могила, и в горе скорбящих — свое красноречие, пусть выраженное только недвижимостью и немотой их кружка. Но горе, дремлющее в стоптанных тапочках, с чем ты его сравнишь?

Я вернулась с чашкой чая; Грета изучала Вандину сберегательную книжку.

— Шестьсот тридцать фунтов, ничего себе, — сказала Грета. — Я понятия не имела, что она такая богатая.

Тут зазвенел дверной звонок, и я пошла открывать.

Оказалось, это Абигейл, секретарша Джона Тули. Главным образом, ей хотелось меня повидать, она сказала, а еще за Вандой остался должок, кое-что она брала почитать, все насчет радионики.

В необоримом желании Абигейл меня по-видать я усомнилась, зато оценила ее учти-вость. Я повела ее в Вандину комнату и, боясь поперхнуться роскошной фамилией, их познакомила так: Абигейл — сестра миссис Подолак Грета. Абигейл пролепетала, как ей, мол, жаль, такая трагедия.

— Абигейл пришла забрать кое-какое обо-рудование, Ванда его брала займы у одного человека, — объяснила я. — Вот тот черный ящик, по-моему, и рядом учебники, книги.

— Да, — удостоверила Абигейл, — лите-ратура тоже мистера Тули.

— А документы при вас, девушка ? — по-интересовалась Грета, мигом сбросив с себя оцепенение горя. Не меньше удивила меня Абигейл, сообщив, что все документы при ней, плюс письменное свидетельство мисте-ра Тули о том, что ей поручается забрать всю ему принадлежащую собственность. Грета, кажется, сразу все поняла и тотчас вздела очки для анализа документов, а я стояла как пень, дивясь на деловитость обеих. У нас в семье тоже бывали потери, и мне бы, кажется, не впервой было наблюдать, как убитые горем люди мгновенно преображаются, едва речь пойдет о чем-то показавшемся им при-влекательным; и у тех, кто посягает на свою

долю от скарба покойника, всегда оказываются наготове доверенности и расписки. Поглядеть на Абигейл, проворно втолковывающую Грете суть бумаг, на Грету, сурово ихверяющую, — в пору подумать, что обе предвидели гибель Ванды и скрупулезно готовились к ней.

Я пошла заварить свежего чая для Абигейл и оставила их за этим плодотворным занятием.

— Но Ванда ведь была добрая католичка! — говорила Грета, когда я вернулась с чаем. Она воззвала ко мне: — Ванда верующая была, ведь правда?

— По-моему, да, — ответила я.

— А кое-какие старикашки-католики, друзья ее, мне говорили, что ей католическое погребение не положено, раз она самоубийца. А я говорю, она верующая, и ксендз этот сам не стал бы ее хоронить по-католически, если бы с церковью у ней были нелады.

— Сказано же — психическое расстройство, — подтвердила я. — Каких только не бывает болезней, мало ли. Ванда не виновата.

— Но, как я теперь погляжу, она ворожила, — сказала Грета. — Черный ящик какой-то...

— Он должен приносить людям пользу, — сказала Абигейл. — Это не ворожба, это радионика. Она лечит больных, считается, которые от нее за тысячу миль.

— Забирай-ка ты свой ящик, девушка, — решила Грета, — и все книжки, при нем которые. А мне теперь придется ксендзу исповедаться. Да. Чтоб совесть не мучила.

В моих ушах стоял крик Ванды, когда я предложила ей побеседовать с отцом Станиславом. Ох этот крик, этот крик. Кто-то совсем затравил бедную безумную Ванду. И утром еще, когда я говорила с Эммой. «Вы с отцом Станиславом говорили, я слышала, слышала». Эти ее подозрения. И как она голосила, как голосила, взбегая по лестнице! «Разве моя вина, что вы болеете? Вы хиреете, вы тощаете, вы скоро умрете», — вопила она. Это вчера еще было.

Я решила выведать у Абигейл, что Ванда делала с этим черным ящиком, верней, что она воображала, будто делает. Если бы не было очевидно, что в расстроенном мозгу Ванды засело, будто она мне как-то вредит, я бы уже потеряла интерес к этому делу. Ванды нет в живых. Мотивы самоубийства бывают пустяшные, Уильям говорил. Какие бы ни были мотивы Ванды, душу мне бередили ее слова: «Разве я виновата, что вы боле-

ете? Вы сохнете, вы тощаете, вы скоро умрете». Значит, и обо мне были ее мысли, а ведь я понятия не имела, что она вообще когда-нибудь думала обо мне.

— Не уходите пока, — шепнула я Абигейл.

— Нет, я не уйду. Мне надо кое о чем с вами переговорить.

И Абигейл осталась, и помогала нам паковать Вандино барахлишко, распределять по разным стопкам явно Вандины вещи и, по-видимому, вещи клиенток. В шкафу висел мужской костюм, простой, темно-синий. Я ухватила за него и сказала: «Это определенно костюм клиента». Вдруг меня осенило, что костюм этот — Гектора Бартлета. Говорила же Эмма: «Каких только Гектор не предпринимал дурацких шагов, лишь бы вы отказались от этого дикого прозвища...»

И вот, вцепившись в этот мужской костюм, я абсолютно уверилась в том, что Гектор Бартлет подбивал Ванду мне гадить. Ну да, все ясно, Изобел познакомила их с Вандой, когда ему понадобилось переделать вечерний костюм. «Все началось прошлым летом, он встретил вас в парке...» — в моих ушах звенели, стучали слова Эммы Лой. Но уже раньше Гектор Бартлет шантажировал Ванду, а то и соблазнил ее, дуришу. И он продолжал использовать Ванду, он так ее ис-

пользовал, что она не выдержала. А все потому, что я его оскорбила в парке... При всей ее дикости, теория утверждалась в моем мозгу, видоизменялась. Обрастала подробностями.

Абигейл дождалась, пока груженная первой порцией барахла уедет Грета. Пообещав вернуться завтра, порыться в бумагах сестры, прикинуть, что отобрать, что бросить. Мы все это уже проходили, когда искали с полицией отгадки Вандиной смерти, но ничего, кроме старых расписок и еще более старых писем по-польски, вперемешку с фотографиями, не нашли.

Я всегда питала теплые чувства к Абигейл де Мордель-Бром-Бильяр, как она звалась в те поры, к Абигейл Уилсон, как теперь она зовется. Оказалось, что она и вправду явилась к нам в дом, главным образом чтобы переговорить со мной, а уж кстати прихватить и радионику мистера Тули. Она рассказывала, что переходит от «Макинтоша и Тули» в «Хайгейт ревю», новый интересный журнал, называемый так потому, что группка бежавших от гражданского гнева сенатора Маккарти американцев угнездилась возле Хайгейта. Журнал предполагает сосредоточиться на культурных и политических событиях. Им требуется хороший редактор. «Вот

я и подумала о вас, миссис Хокинз. Платят они так себе, но зато — какая работа! Вам интересно?»

Мои сбережения таяли, я созрела для новой должности. Абигейл обещала устроить мне интервью. Я с куда большим энтузиазмом встретила бы ее любезность, если бы меня не томила тайна Вандиного самоубийства и подозрение, не причастен ли к нему Гектор Бартлет, которое я сегодня же решила обсудить с Уильямом. Если Ванда искренне считала, что мое похудание связано с неким наложенным на меня проклятием, она глубоко ошибалась. Но то обстоятельство, что кто-то до такой степени желает мне зла, меня совсем вышибло из колеи, тем более я уже была удручена странной Вандиной гибелью.

Мы с Абигейл сидели на Миллиной кухне, а я все думала о костюме — безусловно, костюме Pisseura, — висевшем у Ванды в шкафу. Я рассеянно слушала журчание Абигейл, которое обычно так меня развлекало. Я и сама, и без всякой Эммы знала, что нажила себе лютого врага в лице Гектора Бартлета, в то утро в Грин-парке прошипев ему в лицо: «Pisseur de sorie». С тех пор я потеряла два места в двух издательствах за это преступление, один раз — совершив его, во второй раз — его повторив, но и не думаю каяться.

Наоборот, я считаю, что выполнила первейший долг службы.

— Этого персонажа зовут, — Абигейл живописала одного из основателей «Хайгейт ревью», — Ховард Сенд. Обалдеть. Я его назвала «Путешествие в Индию»*, он не понял. Ну да, он это самое, ну, голубой, но обычно они умеют дружить.

Я согласилась явиться на интервью к Ховарду Сенду.

— Абигейл, — я сказала, — расскажите мне про этот ваш бокс.

— Да не мой он, а мистера Тули. Он спирит, понимаете, он экстрасенс, психоаналитик, всякое такое. Мне искренне жалко его жену, потому что при всем при том он прямо душка.

— Но как он до Ванды Подолак докопался?

— Она у него в списке, за нее замолвил словечко главный организатор; этот ни бельмеса не смыслит в радионике, зато умеет вербовать тех, кто в ней смыслит, Гектор Бартлет, ну, знаете, прихвостень Эммы Лой. Организатор, скажите, пожалуйста, гад такой! Гоняет, высунув язык, с образцом вашей

*«Путешествие в Индию» — роман Эдварда Форстера (1879–1970).

крови, с прядью ваших волос в зубах, выискивает кого-то, кто поставит диагноз: что с вами не так. Ну?

— Но сам-то он, конечно, в это не верит?

— Еще как верит! Еще как!

— Я вообразить не могу, чтобы этот тип хоть когда-то, хоть в чем-то был искренним.

— Но у его операторов есть результаты. Видимо, сносшибательные результаты. Джон Тули получает письма от благодарных пациентов. Я сама видела.

— Насчет Гектора Бартлета?

— Насчет него, да. Пишут, что он с помощью радионики творит чудеса. Не знают, что он не сам их творит, но он ведь тренирует своих операторов, а значит, заслуживает благодарности. Лично я его на дух не переношу — липучка пакостная.

— И остановился бы на своей радионике! Спрашивается, зачем ему еще и книги писать?

— Ну хочет человек увидеть свою фамилию в печати, хочет прославиться. Сами знаете, все они рвутся к славе. Джон Тули пробовал его урезонить — какое! Считает себя великим критиком, мыслителем, видите ли.

— Он *Pisseur de copie*, — говорю.

Абигейл пришла в восторг.

— Ой, ну эти французы вечно такое отмо-
чат, да? А вы в последнее время дико молодо
выглядите, миссис Хокинз.

— Не такая уж я и древняя, — говорю.

Гораздо позже, ночью, когда я предложи-
ла Уильяму на рассмотрение свою теорию
о влиянии Pisseur'a на Ванду, мне пришлось
от нее отказаться.

— Во-первых, — сказал Уильям, — этот
синий костюм у Ванды в шкафу — мой, и
большое тебе спасибо, если ты его вызво-
лишь. Это единственный мой пристойный
костюм.

Уильям еще что-то говорил, исключи-
тельно умное. Не помню. Но тот факт, что
я пришла к ложному выводу насчет хозя-
ина синего костюма у Ванды в шкафу, по-
колебал все мои выкладки об отношениях
Гектора Бартлета с Вандой. А мне-то хоте-
лось впечатлить Уильяма силой логики и де-
тективным талантом. Да уж. Но на проверку
Уильям оказался кругом неправ, а сама я
очень даже близка к истине.

В Англии пятидесятых годов радионика уже
цвела пышным цветом. Эта лженаучная шту-
ковина пустила корни с начала двадцатого
века в Штатах. Считалось, что с ее помощью
можно на любом расстоянии диагностиро-

вать и лечить все мыслимые недомогания и расстройства — у людей, животных, растений. Скоро объявилась масса приверженцев радионики, и сейчас еще довольно много народу в нее верит. То, что это нелепейший способ лечения, поклонники не принимают в расчет, и, уж конечно, посулы «радионики» (в словаре и слова такого нет!) не менее святы для них, чем догматы всех наших религий. Я лично считаю, что все это чушь собачья, меня тошнит от упорных, многолетних потуг подсунуть научную базу под несчастный бокс с его цветными жидкостями, прядками волос, металлическими кнопками, на которые молятся операторы, и всей этой мутью о зашифрованных инструкциях, электромагнитных полях, шабрас (лучах), полях Ж (жизнь), полях М (мысль), полях О (организация) вместе со всеми их эволюциями и эманациями. Господи Боже! Да этот их бокс и рядом с наукой не лежал; он не электронный, не электрический; он не радиоактивный. В Штатах от него давным-давно откристились, но не в Англии, нет, не в Англии, где фермеры доверяют боксу свой урожай, а объездчики лошадей — своих подопечных, когда на тех нападёт сап.

В тысяча девятьсот пятьдесят пятом году я куда меньше, чем теперь, знала о при-

тязаниях радионики. Но уже тогда я пришла к двум внятным умозаключениям, которых держусь и теперь. Во-первых, радионика — выверт, хоть совсем не всегда обман, поскольку обычно те, кто подсел на нее, искренне в нее верят. Во-вторых (и это уж безупречно логическое построение), если ящик может творить добро, он, стало быть, может и причинять зло. Если вы верите, что он способен благословить урожай, значит, он способен взрастить плевелы. Если вы верите, что он может вас исцелить, значит, он может и сгубить ваше здоровье. И вот мой совет всем, кто хочет попробовать лечение боксом: ну попробуйте, чем черт не шутит, вас не убудет, только не верьте вы в это дело, не верьте. И главное, не швыряйте на ветер своих кровных.

Перед уходом Абигейл я попросила у нее книжку из тех, какие она вытребовала у Греты. Она мне выдала книгу и брошюру. Мне хотелось дознаться, каким манером Ванда могла прийти к выводу, что я худею якобы в результате ее усилий. Я абсолютно не разобралась в этой абракадабре, хоть, честно сказать, и не лезла из кожи вон, чтобы разобратся.

В одной более поздней публикации я прочитала, что по образчику крови или волос

можно-таки воздействовать на пациента на расстоянии, причем без его ведома. Ассоциация радионики, основанная в тысяча девятьсот шестидесятом году, «запрещает подобные действия». Но раз никоим образом невозможно их контролировать, что толку в этих запретах? Кое-какие статьи, с которыми я сверялась, чтобы освежить впечатления от событий тысяча девятьсот пятьдесят пятого года, подтвердили мои подозрения. При рассмотрении в Верховном суде одного знаменитого дела было установлено, что бокс ни при какой погоде не может никого и ничего излечить на расстоянии, однако операторами, видимо, движут самые благородные цели. Очень многие медицинские светила нас уверяли, что бокс — полный бред, и очень многие вполне почтенные лица нас убеждали, что все, мол, наоборот. А скажем, на взгляд гостя из космоса, бокс, осмелюсь предположить, ничуть не более смехотворен, чем католический катехизис или месса.

Ночью, когда я вернулась к своей реальной молодой жизни, Уильям смешил меня, мрачно талдыча: «Вы сохнете, вы хиреете, вы тощаете, вы скоро умрете». И хоть совесть шептала мне, что такое отношение к безумию Ванды чересчур легкомысленно, в то же время я понимала, что Уильяму просто хо-

чется меня вызволить из пучины мрака, которая меня засосала, — в чем он и преуспел. А какая дивная у него была коллекция патефонных пластинок!

Наутро я доехала до Хайгейта подземкой, по северной линии. Довольно я бродяжила на автобусах — надоело.

Абигейл была тут как тут, и меня представила.

— Здравствуйте, мистер Сенд.

— Очень рад, очень рад, миссис Хокинз.

Абигейл удалилась в другую комнату — меня подождать и подполировать ногти.

Меня приняли на работу, правда, с месячным испытательным сроком, в апреле; но ведь он был на носу, апрель, от марта всего неделька осталась.

— Когда вы редактируете текст, миссис Хокинз, на что вы в первую очередь обращаете внимание?

— На курсив и восклицательные знаки, употребляемые эффекта ради. Я их безжалостно удаляю.

Ответ как ответ, не хуже других, да?

— А если автор — Олдос Хаксли, скажем, или Сомерсет Моэм?

Я ответила, что, если бы он издавал этих авторов, ему бы не так уж нужен был редактор.

— Что правда, то правда. — Широким взмахом руки он очертил стопки рукописей на другом столе.

— Все это придется смотреть. Но ни Хаксли, ни Моэма вы здесь не найдете.

В Хайгейте они облюбовали высокий викторианский дом, в общем-то мало отличающийся от Миллиного в Саут-Кенсингтоне, разве что попросторней. Никогда еще не было у меня такой увлекательной, такой занятой работы. Какие встречи, какие перипетии. Но когда в часы бессонницы я оглядываюсь на «Хайгейт», все там представляется мне именно что в розовом свете. Постараюсь объяснить, хоть отчасти. Во-первых, Ховард Сенд норовил притащить на службу то охапку бледных роз, то крупное яблоко, грушу и персик, а то сливовый цвет — бело-розовую ветку, но казалась она розовой-розовой. Были тюльпаны, были и гиацинты в горшочках, но я стараюсь передать не свои воспоминания, а впечатление от них. По-моему, именно на друге Ховарда и партнере, на Фреде Тучере я впервые в жизни увидела розовую мужскую рубашку. Ну я не знаю — теперь, во всяком случае, она мне видится в розовом свете. Наша гостиная, большая комната по фасаду, отделялась прихожей от такой же большой и пропорциональной конторы.

И в обеих — эркерные окна. В гостиной стояли глубокие кресла из породы клубных, и канапе, и все обтянуто чем-то светлым; ковер привольно раскинулся во все стороны, от стены к стене, и были бледные стены, и светлые деревянные конторки и полки.

Ну так вот, а в памяти у меня все это слилось и запечаталось в розовом свете. Может, если бы хорошенько порылась в своих впечатлениях, я обнаружила бы, что этот розовый цвет идет на самом деле от тепловатой — ни холодной, ни горячей — политики беглецов от сенаторского кипучего гнева. А я-то ожидала в них встретить бешеных коммуняк, леваков-экстремистов, как их изображали враги в Америке; и я привыкла надеяться любого борца левого толка грозным лицом, унылой прямокой выправки — понавидалась в Лондоне, как такие типы возвращались домой с вечерних курсов при Институте экономики, под проливным дождем, как аршин проглотив, ловя языком кислотные капли. Но в штате «Хайгейта» были люди денежные, опытные и тонкие. Политика журнала — более-менее либеральная. И они так были похожи на обыкновенных образованных англичан, что только диву даешься, как можно было их обвинять — а ведь обвиняли — в приверженности жутким Сове-

там. Одним словом, типичные американские эмигранты, у которых оказалась куча денег из-за курса валют, и они были образованные и в Англии чувствовали себя как дома. Тогда я еще мало колесила по свету, не то знала бы, что многие другие американцы точно так же — как дома — чувствовали себя хоть во Франции, хоть в Италии, хоть где.

В тот день, в день моего интервью, Ховард Сенд сказал:

— Что же, спасибо, миссис Хокинз, вы приняты на месяц, на испытательный срок. Кстати, мы тут друг с другом по именам. Я Ховард. Вы, как я понимаю, Агнес?

— Нэнси, — сказала я.

— Ну пока, Нэнси, до встречи на той неделе. Работы будет навалом.

Мы с Абигейл нашли одно местечко, где можно посидеть и перекусить. Решили, что работа работой, о ней мы еще наговоримся, успеется, а пока можно перейти к более насущным проблемам, как, например, любовь Абигейл к Джайлзу Уилсону, который работал у Ллойда, куда он каждое буднее утро трусит в котелке, а вечерами он окучивает одну небольшую юную рок-группу, цацкается с ней и, в частности, подкидывает деньги. Он и Абигейл приспособил к этим своим вечерним вылазкам, ну да ладно, она не

против, а на выходные таскает ее за город, по разным друзьям, кто позовет, друзей у него тьма, но лучше выбирать из тех, кто не закатывает пышных ужинов по субботам, «а потом воскресенье все псу под хвост — стой и помогай мыть посуду». Родители Абигейл в разводе. Отец, она сообщила, живет со всякими сестрами и кузенами в большом доме, куда «как ступишь одной ногой, сразу у тебя работы невпроворот. И все выходные без передыху ты ишачишь в саду и на огороде, собираешь всякие овощи-помидоры, или яйца, или клубнику, а в доме потом чистишь серебро, эту почетную миссию, ах-ах, прибе-регли для тебя. Ну? И все для того, чтоб потом, усевшись вокруг стола, тыча вилками в брюссельскую капусту, они воздавали паточные хвалы Энтони Идену*». А ездить на выходные к родным Джайлза тоже не вариант, там дивный такой дом, ангар перестроенный, что ли, но маловато народу, вместе не ляжешь. «Мигом тебя накроют». Они решили пожениться, вот только скопят денег на медовый месяц — наверно, уже в том году.

Мне нравилась ее манера живописать свой мир в упругих, прыгучих фразах, без

*Энтони Иден, граф Эйдонский (1877–1977) — государственный деятель Британии; в 1955–1956 гг. премьер-министр.

намека на злость, без лишних описаний и ненужных подробностей.

Я сказала ей, что ищу небольшую квартиру.

— Ой, а мне так твоя норка понравилась в Кенсингтоне, — удивилась она.

Ну вот, и я ей рассказала про Уильяма, и про наше решение жить вместе, и потом пожениться, когда он сдаст выпускные. Она сказала, что будет присматривать для нас недорогое жилье. Мы вместе дошли до самого Найтсбриджа, и здесь Абигейл меня оставила, взмахнув на прощанье красным кашне. И мне полегчало, я стала думать про новую работу, про Уильяма, а не про эту смерть, эту Вандину смерть.

Домой я пришла уже в четвертом часу и в прихожей сразу же углядела Миллины чемоданы. Она только что вернулась из своей Ирландии, почти в то же самое время, как Вандина сестра явилась ворошить ее остатние пожитки. Я нашла Милли у Ванды в комнате, с Гретой.

— Милли, ох, Милли, — простонала я, стоя в дверях.

— Исхудала-то как, миссис Хокинз. Да что это с вами? — встревожилась Милли.

— Зови меня Нэнси, — я попросила.

— Здоровье-то как?

На самом деле я стала худеть еще до отъезда Милли в Ирландию, но, видя меня каждый день, она ничего не заметила. Я ей объяснила, что чувствую себя превосходно. Но ничто, ни тогда, ни в дальнейшем, так и не заставило Милли расстаться с идеей, что смерть Ванды настолько меня потрясла, что буквально переполовинила мою могучую статью.

— Да, вот ведь какие дела... — обратилась она к Грете, которая, сидя у окна, пролистывала пачку фотографий. — Это ж надо, что делается, когда этакое стряется? Иной раз не только исхудает человек, а поседает за сутки. Самоубийство, да, и человек-то из моего дома!

Грета, кажется, не замечала возгласов Милли; она с недоумением разглядывала фотографии.

Я вошла в комнату и попыталась уговорить Милли.

— Большую часть вещей увезли вчера, — я сказала, — давайте рассмотрим остальное, и все. Как насчет чайку?

— Успеется, — бормотнула Милли, — тут делов выше крыши.

Никогда еще я не видела ее в таком состоянии. Она взяла ящик, набитый старыми,

пожелтелыми бумагами, письмами и счетами, оплаченными лет пять назад. А она, оказывается, скопидомка была, наша Ванда.

— Чего я ищу, так это анонимные письма, хоть одно бы найти. Кто-то ведь довел Ванду до самоубийства, — бормотала Милли.

— А то, — подтвердила Грета.

Ящик поставили на постель. Мы с Милли пристроились к нему с двух сторон; Милли тупо перебирала бумаги. Грета отложила связку фотографий, вынула из ящика новую. Я смотрела на них обеих, и у меня мелькнула, на секунду мелькнула, странная мысль, что они пытаются воссоздать Ванду, что ли, и тут вспомнились мне строки из «Франкенштейна»: повествователь-ученый ищет в могиле материалы для создания своего чудовища. Я потом просмотрела этот пассаж. Там сказано так:

Кто поймет всю муку тайных моих трудов,
когда я рылся в неосвященной сырости гроба
или терзал живых существ, дабы оживить сей
безжизненный прах?

Слегка пересолено в смысле стиля, зато в совершенстве передает все, что я чувствовала тогда, в Вандиной комнате, когда мы перебирали эти жалостные бумажки.

Я стала укладывать содержимое ящика в предварительном порядке — письма туда, открытки сюда, старые счета еще куда-то. Пригодился издательский опыт, я в два счета с этим разделалась. Образовалось пять-шесть небольших пачек. Затем я каждую разложила в хронологическом порядке.

— По большей части тут всякая ерунда, — я сказала.

— А насчет анонимных писем что? Нету? — спросила Милли. — Надо бы лучше пошарить.

— Да нет, Ванда их, видимо, уничтожила.

Тут следовало, я вот чувствовала, хоть как-то помянуть о достоинствах Ванды.

— Портниха она была изумительная, — сказала я, вдохновляясь давним Вандиным предписанием насчет полутора метров черной муаровой ленты. — И брала по-божески.

— Настоящая труженица, — подхватила Милли.

— Разве ж она заслужила такое? — вздохнула Грета.

Я видела, что Милли хочется поддакнуть, и только честное католичество ей мешает уж до того дойти, чтоб выделить Ванде роль невинной жертвы. Она и хотела что-то сказать, да не смогла.

Тут заговорила Грета, взглядом призвав меня в свидетели:

— Но похороны-то католические были. Психбольная — значит, она не виновата, да?

Милли просияла при этом известии.

— Правда, что ли? — спросила она.

— Что-то свело ее с ума или кто-то, — я сказала.

— Именно, — скрепила Милли.

— Шут его знает, — вздохнула Грета.

— Кажется, долгов за ней нет. Нет счетов неоплаченных, — говорю я.

— За квартиру только, — говорит Грета. — За последнюю неделю за квартиру не плочено, да? Я уплачу.

— Ну уж нет, — вскинулась Милли, — я к этим бы деньгам не притронулась бы. стыдоба-то какая.

Среди писем я высматривала исключительно почерк, какой, я запомнила, был в первом анонимном письме, но ничего похожего не находила. Письма оказались всё больше из Польши, на польском; открытки, как видно, поздравительные. Одна была от Кэйт, одна от меня. Я отдала всю пачку Грете.

— Возьмите их домой, а все лишнее ликвидируйте.

— А фотографии? — Грета как будто разрешения спрашивала.

— Все ваши, — я ответила. — А старые счета и тому подобное мы уничтожим.

— Фотографии такие есть, я прямо не знаю, — сказала Грета. — Есть семейные фото, есть сестры, которые в Польше, вот я сама, наши дети. Вот дядя наш, две наши тети. Все бы ладно. А есть такие, не разбери поймешь. — Она протянула мне фотографию размером с открытку. — Лицо Вандино, а дальше — пришей кобыле хвост. И кто этот малый?

Я мигом узнала: это Гектор Бартлет, *Pis-seur de sorie*. Стоит себе рядом с девицей, то есть фигура девичья, а лицо вставлено Вандино, ну не она это, не она. Девушка — типичная фотомоделка, чудная рубашечка, брючки в обlipку. И на заднем плане — море, то ли Маргейт, то ли Рамсгейт. Всё — явный фальшак. Но вроде бы безобидный. Я показала фотографию Милли и, чтобы не будоражить ее теми соображениями, которые уже проклевывались у меня в уме, сказала:

— Тут подделка, шутка, голова — Ванды, тело — другой женщины. А его узнаете?

Милли мгновенно ответила:

— Это родня ее.

— Что еще за родня? — ошетинулась Грета.

— Он на священника учится. Призвание проснулось, лучше поздно, чем никогда, — ответила Милли.

— Нет у нас никакой такой родни, — отрубил Грета, — и никогда я эту личность не видывала.

Милли побледнела. По-моему, ей не хотелось верить Грете.

— И он к ней захаживал? — это я.

— Часто, — сказала Милли, — часто под вечер приходил ее провести — после этого ужаса с анонимными письмами.

— Никакая он не родня, — повторяла Грета.

Я сказала:

— Я его никогда тут не видела.

— Ах, да ты же на работе была. А ему, не забудь, к пяти надо было на занятия. И вообще — какой с него спрос, — говорила Милли.

— Нету у нас никакой такой родни, — заладила Грета.

— Но она мне сама сказала, что он ей родня и на священника учится, — кипятилась Милли.

— Шутка, — вставила я. — Как эта фоточка. Безобидная шутка...

— Ничего себе шутка! — вскинулась Грета. — Нате вот! Еще поглядите.

Остальные снимки были столь же невинны: Ванда с Гектором на улице, Ванда в собственном рыхлом формате, зато лицо Гекто-

ра присобачено к чужому шуплому мелкому телу. Далее фотография с пикника, причем Гектору и Ванде, обоим, приданы столь элегантные позы, каких те в подлинной своей жизни никак не могли бы принять. Я взяла снимки у Греты, просмотрела их все подряд. И обнаружила минимум пять таких очевидных фальшивок. Потом на одной фотографии дело обошлось вообще без Ванды. Демонстрировался Гектор с неведомым коротышкой, тот стоял в профиль. Кормили уточек на озере, а на каком — неизвестно. Я, кажется, смутно припоминала коротышку, но не могла сообразить, где и когда его видела.

Я проверила все карточки с испода, в поисках надписей, ничего не нашла и вернула их Грете.

— Уберите, — попросила.

— Пряма тайна, — вздохнула Грета.

— Ну надо же, как он меня охмурил, — сказала Милли. — Я ж так и думала, что он в семинарии учится.

Я засуетилась: надо достать чемодан, который лежит на шкафу, собрать последние Вандины пожитки, то да се. Мне хотелось поскорей отделаться от Греты, хоть я знала, что мои выкладки оформятся позже, возможно, в часы бессонницы. Мы сложили в

отдельный пакет письма Ванды; мы уложили в чемодан вещи клиенток, Грета решила их подбросить подруге в Лондоне и оставила Милли адрес. Старые счета собрали кучкой, чтоб выбросить. Была еще какая-то бесполезная муть, обрывки старой бумаги, забившиеся в ящики по углам.

— Дайте мне, завтра я во всем разберусь, — это Милли.

И она повела Грету вниз, выпить чашечку чая. Мы вызвали такси и сбагрили эту сестрицу. Милли страшно устала с дороги и была растрожена свалившейся ей на голову бедой.

— Не пойму, и зачем этот тип сказал, что он ей родня? И якобы он на священника учится...

— Забудем об этом до завтра, Милли, — я сказала. — Утро вечера мудренее. Тебе надо выспаться, мне тоже.

Мне самой это было досадно, но наутро последние перипетии Вандиной смерти у меня улетучились из головы; я думала о чудесной предстоящей работе, о дивной истории любви Абигейл и Джайлза, как он утром трусит в котелке на работу у Ллойда, а по вечерам окучивает свою молодую рок-группу. Мне хотелось поскорей переехать на квартиру с Уильямом вместе. И еще — мне надое-

ло, мне осатанело быть этой миссис Хокинз. Захотелось с моими новыми вполне приличными габаритами снова стать Нэнси, которой я когда-то была.

Телефон грянул сразу после того, как укатило такси с Гретой. И мы ей пожелали счастливого пути. И убеждали ее не волноваться. И я собиралась усадить Милли, дать ей чего-нибудь выпить.

Я взяла трубку.

— Миссис Хокинз, я вот подумал, может, вы освободили бы для меня вечерок, так, скажем, в пятницу или в субботу? Я хочу посоветоваться с вами насчет Изобел. У нее проблемы с новой квартирой. Шторы и прочее. И мы, кстати, могли бы шикарно пообщаться, вы да я...

— Нет, мистер Ледерер, это невозможно.

Ах-ах, ваши советы, ах, миссис Хокинз... Что я ему — по-прежнему миссис Хокинз, и мое лицо просто приляпано к фигуре стройняшки, как на тех Вандиных фоточках?

В тот же вечер, попозже, мы устроили нечто вроде поминок по Ванде; жильцы собрались на кухне вокруг Милли — выразить ей нашу радость по случаю возвращения и поддержать, ведь какие жуткие дела творились у нас, пока Милли не было с нами, Изобел съехала отсюда беременная, Ванда скакнула

в канал. Мы хотели выказать Милли свою солидарность.

Новость об Изобел не слишком встревожила Милли, тем более она от нас уже съехала.

— Папаша разбаловал до неприличия. Чего ж вы хотели? — припечатала Милли. — А от Ванды Подолак я такого не ожидала, — не раз повторяла она так, будто самоубийство и внебрачный ребенок — происшествия одного порядка. Но в глубине души я-то знала, она куда больше расстраивалась из-за смерти Ванды, чем была в состоянии выразить. «От Ванды я такого не ожидала», — в моих ушах это прозвучало, как легендарный укор эдинбургской хозяйки Джеймсу Симпсону, когда тот открыл действие хлороформа и, испытав его на себе, валялся на полу, будто в дымину пьяный. «От вас я такого не ожидала, мистер Симпсон!»*

Все мы, трудовые люди, уходили на службу, и никто, естественно, не помнил Гектора Бартлета, а тот, я сообразила, под видом родственника аккуратно наносил свои визи-

*Джеймс Симпсон (1811–1870) — шотландский акушер, гинеколог, хирург, второй врач, применивший наркоз эфиром, а затем хлороформом при операциях.

ты Ванде как раз днем, чтобы избежать нежелательных встреч.

— Он же совсем молодой, по-моему. Никогда бы я не подумала такого про Ванду, — сказала Милли.

И тут я поняла: она считает, что он был Вандин любовник. А что? И очень даже возможно. Я помалкивала. Ни слова о том, как его имя-фамилия, о том, что я его опознала на этих карточках. Я сидела с Уильямом рядышком, вместе с Кэйт, Карлинами, мастеровитым мистером Туинни с супругой, тоже заглянувшими на огонек поприветствовать Милли и поохать над Вандиной злой судьбой. Странно: все они помнили, чем занимались, когда их настигло роковое известие, и подробно расписывали ту минуту. Кэйт пришлось открывать дверь полиции: «Здесь живет миссис Подолак?..» И как напереживалась, в каком шоке была бедная Кэйт, о Хоссподи, пока вела их наверх, ну надо же, и колотилась к Карлинам в дверь. Карлины вспоминали, как они тогда ужаснулись, Бэзилу Карлину даже пришлось звать Уильяма на подмогу: жена побелела как мел. Мистер Туинни узнал о несчастье от кого-то на улице, совершенно случайно, «и я поспешил домой, и попросил миссис Туинни присесть,

и сказал, только ты не волнуйся, и тогда уже все ей выложил». Уильям сказал, что и он ужаснулся, конечно, «но знаете, в анатомичку сплошь да рядом таскают жмуриков после аварий, тут, хочешь не хочешь, привыкнешь». Милли полегчало от этих свидетельств. Мой вклад в общее дело был скромнен. Я не могла толком припомнить, что я делала, когда узнала страшную новость. «Прихожу домой, мокрая насквозь, — я сказала, — и вижу: в комнате у Ванды полиция». А на самом деле, но это я держала в уме, в самую минуту Вандино броска я сидела с Эммой Лой в «Гроссвенор-хаузе» и рассуждала о Гекторе Бартлете, — между прочим, с телефоном отца Станислава в сумке.

Во время наших посиделок меня опять вызвали к телефону. Изобел Ледерер. Хотела, чтобы я что-то такое для нее сделала, я начисто забыла, что именно. Помню только две бодреньких фразы: «Знаю, я полностью могу на вас положиться, миссис Хокинз» (Знаешь? Ну-ну!) и «Вы ни за что не подведете меня, я уверена, миссис Хокинз» (Уверена! Скажите, пожалуйста!). Какого бы одолжения она у меня ни просила, какого бы мне ни дала поручения, обещала я ей что-нибудь или нет, но я для нее не ударила палец о палец.

Ночью, лежа без сна, я как бы снова ли-стала эти нелепые фотографии Гектора Барт-лета с Вандой. И сразу у меня в памяти всплыло, кто этот коротышка, рядом с Гек-тором явивший свой профиль: Владимир, за-нуда несчастный, вечно ошивавшийся в «Ма-кинтоше и Тули». Якобы русский аристократ (якобы, якобы!), со своей язвительной, под-лой камерой он вполне мог спроворить эту дрянь. Но зачем ей понадобилось это хра-нить, вот вопрос. Может, я рассуждала, бы-ли и другие, похлеще, может, где-то Вандино лицо приляпано к чужому телу в порногра-фической позе, и она эту карточку в ужасе порвала, или ее этой пакостью шантажиро-вали? Предположим, допустим, да кто же те-перь проверит... Я билась над задачкой о том, насколько Гектор Бартлет причастен к само-убийству Ванды, складывала этот милень-кий паззл и не могла как следует объяснить, зачем авторам понадобилась эта мерзость, куда они метили, и в памяти у меня стоя-ло изумленное лицо Греты, засело горестное недоумение Милли — в тот день, когда я вер-нулась из своего нового издательства и мы вместе перебирали бумаги и прочее в Ванди-ной комнате. Ванда вдруг мне представилась в новом свете. Рассказ Эммы Лой и моя соб-ственная новая любовь открыли мне глаза.

Вдруг я поняла, что влюбленные, те, у кого роман, склонны больше, чем все остальные, прозревать в окружающих приметы любви. После смерти первого мужа, годами, пока мое сердце было свободно, я понятия не имела, что кто-то из моих знакомых влюблен, покуда он сам мне не исповедуется, не объявит о своей помолвке. Да и что я знаю о тех, кого изо дня в день видела у себя в конторе? И что я знаю про Кэйт? Или про Изобел — вдруг она влюблена в кого-то, и вообще он не отец ребенка? И что я вообще-то знаю, что я знаю про Ванду?

И вспомнился мне тот день, когда после долгого и жуткого вопля Ванды мы с Милли кинулись к ней и застали ее в постели; тогда, бегло и мимоходом (каюсь), я заметила, какой у нее притягательный вид — это золотое руно, эта пуща, волна, разлитая по подушке. Сама в те поры обходясь без любви, я смотрела, да, но не видела. В Ванде я видела только коренастую польку-портниху, у которой голова набита исключительно церковью, мадоннами, новеннами* и клиентками. Да разве я могла подумать, что у нее есть любовник?

*Новенны — традиционная католическая молитвенная практика, заключающаяся в чтении определенных молитв в течение девяти дней подряд.

Зато теперь я об этом думаю, я думаю о Гекторе Бартлете, о его роли, возможно, роковой роли, в Вандиной печальной судьбе. Одинокая немолодая вдова, и Гектор Бартлет банально втирается к ней в доверие, в ее жизнь, гипнотизирует и шантажирует бедную дуру, с дальним прицелом — приспособить ее для работы с этим дурацким боксом. Возможен такой вариант мелодрамы? А почему бы нет, интересно? Стареющих женщин то и дело используют подлые мужики. И на старуху бывает проруха, уж я с тех пор такого понавидалась, даже среди высокоинтеллектуальных дам. Я знавала одну — докторица-ученая на отдыхе в Италии, — так ее соблазнил и обобрал прохвост, выдававший себя за зрителя, что ли, при фонтане Треви; казалось бы, ну что такого особенного, но она это приняла близко к сердцу. Знавала я и начальницу тюрьмы, которая клюнула на рассказни своего подопечного, отбывавшего срок за убийство жены; казалось бы, ну что такого особенного, но ее уволили. А какая надежда, какая защита от себя самой была у несчастной Ванды?

Наутро, когда я уже готова была признать, что выводы, к каким я пришла в ночной тиши, чересчур отдают дичью, ко мне в дверь постучалась Милли.

— Я прибиралась у Ванды и вот — нашла под матрасом.

И она протянула мне две газетных вырезки, одну крохотную, другую побольше, и три маленьких мятых конверта. Прежде всего я схватила тот конверт, на котором было выведено «Хокенс», я сообразила: так Ванда писала мою фамилию. На двух других она вывела соответственно «Сток» и «Эшерби». А кто скрыт за этими фамилиями, мне никогда не узнать. В каждом конверте были срезанные пряди волос, аккуратно перевязанные шнурочком. Волосы «Хокенс» были точь-в-точь как мои, но я понятия не имела, каким образом они оказались у Ванды.

— Волосы ей помогали лечить людей этим дурацким боксом, — объяснила я Милли.

— Ну не жуть? — вздохнула Милли. Она села и подала мне газетные вырезки. — Вот, полюбуйся, — сказала она.

По издательской привычке я перво-наперво поискала глазами выходные данные. Нигде ни намек. Ни названия газеты, ни даты, ни в печатном виде, ни от руки. Грубый, неразборчивый, отрывочный, разрозненный текст — такое бывает. И набранный явно не слишком сноровистой рукой.

Коротенький текст был извлечен на первый взгляд из колонки личных объявлений.

Он гласил: «Портниха из Саут-Кенсингтона, специализирующаяся на переделке одежды, Ванда Подолак. Звонить в любое время по телефону». И следовал наш телефонный номер.

Текст побольше, как бы из раздела новостей, озаглавлен:

«Польская портниха из Саут-Кенсингтона под следствием». Начинается он таким образом:

Полиция расследует деятельность некоей польской дамы, обосновавшейся в нашей стране, проживающей в Кенсингтоне и регулярно помещающей объявления в нашей газете. Эти объявления неизменно выражены в следующих, по-видимому невинных, словах. (Далее — уже знакомый нам краткий текст.)

Но что же кроется за этими объявлениями? Дама, о которой у нас идет речь, некая миссис Ванда Подолак, проживающая в Кенсингтоне в доме № 14, на допросе заявила: «Я просто хочу помочь людям. В моих действиях нет ничего дурного. Неправда, будто я ворожу и колдую, будто я хочу изменить внешность моих клиенток с помощью радионики. Неправда, будто я тайком срезаю у них по пряди волос, когда они приходят ко мне на примерку. Я *bona fide** портниха и честная католичка».

*Верный, честный (лат.).

Полиция отрицает, что якобы расследует случай одной молодой особы, которая непостижимым образом вдруг стала худеть под воздействием радионики, благодаря услугам «портнихи» миссис Подолак, проживающей по адресу: дом № 14 (в почтенном викторианском здании в Саут-Кенсингтоне). Если указанная молодая особа жаловалась, что теряет вес, — заявил далее представитель полиции, — мы об этом не знаем, а знали бы, посоветовали бы ей обратиться к врачу. Упомянутое должностное лицо согласно, однако, с тем, что внимание полиции было занято вопросом, не совершается ли какого-нибудь другого мошенничества в доме №14 по Саут-Кенсингтону.

— Ну, не хамство! — вскинулась Милли. —
Надо же, в газетах пропечатали! Как тебе? А?
Я объяснила:

— Это не настоящие вырезки. Фальшак, и больше ничего. Ну честное слово, Милли, никогда ни в какой газете это не было напечатано. Тот тип, который себя выдавал за Вандиного родственника, он их и состряпал, чтоб ей насолить. Я даже знаю случайно, где он их состряпал. Есть такой мистер Уэллс на Ноттинг-хилл, у него такая миленькая типография. Я тебя с ним познакомлю, и, не сомневаюсь, он все это подтвердит.

И я повезла Милли вместе с этими самыми вырезками к мистеру Уэллсу, и тот подтвердил, что вырезки — часть особых заказов мистера Бартлета. Но пусть бы я, например, ничего не знала об изготовлении вырезок, конечно, я не купилась бы на эти бумажки. Не такой уж мистер Уэллс искусник, чтобы своим изделием втереть очки человеку, поднаторевшему в разнообразных, в том числе и газетных, шрифтах. Мистер Уэллс убивался из-за того, что расстроил Милли. Кэти вышла из кабинета и слонялась рядом, пока у нас шел разговор.

— А копии где-нибудь сохранились? — я спрашиваю.

— Нет, все печаталось в единственном экземпляре. Сумасшедшие деньги, но он платил, без звука платил. А можно спросить — зачем ему это понадобилось?

— Шутки ради, — говорю. — Давайте мы теперь на этом поставим крест.

И мы, не сходя с места, тут же все это порвали.

— Шутка не шутка, а пакость, — вздохнула Милли, — главное, адрес мой указали.

Мы вместе с Кэти пошли выпить чаю, и Милли сияла: всегда сияла в присутствии свежего человека. Кэти совсем разнежилась и даже сказала, что Гектор Бартлет со свои-

ми этими шуточками — вредный, опасный тип, а мистер Уэллс — сваял дурака, хоть никому не желал зла.

— А вот может так быть, — сказала Милли, — что эти слова в газете и довели Ванду до гибели? А?

Я и сама склонялась к такой версии. Но как объяснишь Милли подобную низость? Гектор Бартлет, конечно, не брезговал никакими средствами давления на бедную Ванду. Он пустил в ход все свои ресурсы — запугивание, секс, любовные клятвы, угрозы разоблачения, — лишь бы заставить ее применять радионику к... — да, а вот к кому? Кто ж теперь скажет, сколько до меня народу прошло через Вандины руки при «лечении радионикой»? Я, конечно, сама хороша — в глаза ему выложила, кто он есть; но готова повторять это прозвище снова и снова.

«Мотивы самоубийства бывают пустяшные, — слова Уильяма. — А то и вовсе отсутствуют». Наверно, если бы мы потащили нашу печальную повесть, плюс газетные вырезки, плюс обрезки волос в полицию, им бы пришлось-таки на это ответить хотя бы символическим жестом, ну на худой конец, предположим, допросить Гектора Бартлета, а дальше-то что? Он бы им в два счета наплел, что это была всего-навсего шутка. Но

пора пожалуй Милли, хватит с нее, больше нельзя ее втягивать в эту муть. Ванды нет на свете, и все. Ну да, из-за психического расстройства. Но я-то, я-то хороша, вовремя не привела к ней ксэндза.

Уже после шести, по дороге домой в автобусе, я вспомнила вдруг, как Ванда подгоняла мое черное платье к велениям моды. Чик-чирик — чирикали ножницы вокруг моей шеи, ловко, как умеют портнихи, делая вырез поглубже. Вот тут-то она как пить дать и срезала у меня прядь волос.

И, едва я это сообразила, мне стало тесно, мне стало душно и захотелось на волю. Я сказала Милли:

— Я нашла работу. Приступать с той недели. Целых три дня свободных. Давай завтра махнем в Париж?

Милли никогда не была за границей. Но в точности как если бы я предложила: «Давай смотаемся завтра в киношку?» — она устремила на меня синий взор.

— Давай, — сказала она.

13

Прекрасная все-таки штука, если у вас куча забот, на несколько дней смотаться в Париж — вот мой совет всем, кроме парижан.

Милли повсюду была как дома, вот и в Париже она сразу почувствовала себя как дома, причем до такой степени, что тотчас по нашем приезде с ходу занялась юной особой, у которой в ту самую минуту, как мы ввалились в вестибюль отеля, случился выкидыш. Непостижимым образом, не зная по-французски ни слова, она умудрилась гонять коридорных, посыльных, горничных и меня за полотенцами, одеялами, тряпками, ведрами, а также за доктором и за стопочкой коньяка. Милли скинула плащ. Засучила рукава блузки. Устроила ложе, сдвинув два кресла, и велела уложить на него бедную девушку. Всем лишним было приказано удалиться. Доктор явился, подроспела «скорая помощь». За двадцать минут все уладилось. Милли спустила рукава, подошла к регистратуре и расписалась под списком гостиничных правил.

Наша трехдневная поездка запечатлелась у меня в памяти под названием «Миллин Париж», уж очень она непохожа на все прочие мои поездки в тот исхоженный вдоль и поперек город, который я наизусть знала; прежде там царили Триумфальная арка, золоченая Жанна д'Арк, Эйфелева башня, Тюильри, Мона Лиза... А тут Милли при виде Моны Лизы вдруг заявляет, мол, Мона Ли-

за — вылитая миссис Туинни; я сперва изумилась, потом впечатлилась: в миссис Туинни, жене нашего мастера на все руки, и впрямь проглядывали черты Моны Лизы; мне странно стало, почему я сама до сих пор этого не замечала, но скоро я поняла, что наша интеллигентская манера вечно все сопрягать, все сопоставлять затемняет и баламутит природный чистый дар узнавания. С тех пор я стараюсь быть наблюдательней и, бывает, вижу черты своих знакомых в портретах, казалось бы, ни малейшего сходства ни с кем из моего окружения не имеющих. Один из акробатов Пикассо до смешного похож на Милли в ее шестьдесят. Многие эскизы Матисса будто списаны с Абигейл. Один волхв в «Поклонении волхвов» Мостарта долго не давал мне покоя, пока до меня не дошло наконец, что он мне напоминает малого в дождевике, который топтался под окнами нашей конторы, нанятый кем-то из кредиторов Олсуотера с целью заставить фирму усовеститься и погасить долги. Кэти затесалась в один из семейных портретов Дега. Дюрер на автопортрете в Прадо, даром что борода, чертами и выраженьем похож на содиректоршу в «Макинтоше и Тули», чью судьбу омрачила семейная драма. А вот в лице доброй женщины, жены Рембрандта в костюме

Флоры из Национальной галереи Лондона в глаза кидается сходство с Гектором Бартлетом, *Pisseur de copie*, как он выглядел в пятидесятых. Как-то в гостях я видела на стене столовой портрет безмятежного, гордого, величавого предка, который легко мог сойти за близнеца бедной Мейбл, свихнувшейся жены упаковщика Патрика. И вот мой совет всем, кому хочется считать лицо зеркалом души: физиономия — весьма сомнительный гид; не полагайтесь вы на нее, когда хотите определить характер человека, среду и эпоху его обитания.

Милли в Париже купила лазоревую шляпку в цветочках и без полей, сунула в высокую тулью несколько флакончиков французских духов и на обратном пути победно в ней миновала таможду.

* * *

У моего Уильяма были на носу выпускные, а потом ему светил год работы в большой больнице самого широкого профиля. Мы решили пока просто жить вместе, а поженимся уже тогда, когда он получит степень и должность. Правда, на серьезные поиски квартиры нам не хватало времени. При моей новой работе в «Хайгейте» у меня часы ухо-

дили на дорогу, и работы было — не продохнуть, в отличие — парадоксальным образом — от крупных издательств, где сотрудники сидят от звонка до звонка.

Правда, мы с Абигейл, как с самого начала условились, умело распределили между собой свои роли. Каждая занималась всем понемножку, но я больше налегала на редактуру, Абигейл на секретарские обязанности. Прочитав очередную рукопись, я передавала ее Ховарду Сенду или Фреду Тучеру с рекомендацией принять либо отклонить. Если рукопись примут, я, бывало, усаживаясь за нее со свежими силами, не скупясь на поправки, начиная с запятых, вплоть до полной перекройки сюжета. «Хайгейт ревю» в свое время был журнал очень известный, на него до сих пор ссылаются, но для читателей, родившихся после того, как слава его отгремела и отцвела, в жизни не державших его в руках, не слыхивавших о его существовании, вот на вскидку несколько обсуждавшихся у нас проблем, которые мне запомнились среди густого потока: водородная бомба; воззвание ученых о мире во всем мире; вопрос об атомных станциях; приостановка ядерных испытаний; отчет об афро-азиатских переговорах; закон об авторском праве; рассмотрение закона о запрете курения в от-

дельных зонах больших городов; вхождение Германии в НАТО; открытие Венской оперы после долгого перерыва; конфликт католичества с протестантизмом; сверхчувственное восприятие. Был у нас и литературный отдел со статьями о Пабло Неруде, Жан-Поле Сартре, Томасе Манне, Эрнесте Хемингуэе. Был отдел, посвященный живописи и музыке. И в каждом выпуске оставалось местечко для двух-трех стихотворений.

Ховард и Фред чуть ли не целый день обсуждали присланные статьи, спорили о политике журнала и говорили, говорили в просторной гостиной, среди цветов, урезонивали неотвязных авторов, в основном авторов статей. Абигейл, кроме составления и перепечатки писем, в чем она достигла высот мастерства, полагалось еще укладывать чемоданы Фреду и Ховарду, когда те уезжали на выходные, метить им белье и варить кофе. В мои обязанности кроме редакции входило приготовление салатиков и омлетов, когда не хватало времени куда-то пойти поесть.

Мы с Абигейл обожали посплетничать насчет «мальчиков», как мы с глазу на глаз их называли. Она говорила, что ей куда легче работать с геями, чем с нормальными мужиками. «Ничего личного», — поясняла она.

Нам нравилось, что «мальчишки» вскакивают, когда мы входим в комнату, если только их не замучила работа и не одолели звонки.

— Вот не знаю, у всех американцев так принято или только у голубых? — гадала Абигейл.

— Так или иначе, — рассуждала я, — по-моему, надо бы сказать им, что это лишнее.

— Ой, ну не надо, — взмолилась Абигейл. — Мне нравится. После, извиняюсь за выражение, дрессировки, которую я прошла, как-то меня это освежает.

Мне пришлось провести выходные в Сэнки, в величавом домище, где ее дрессировали. И правда, мужчины там, все до единого, хмыкнут, бывало, когда ты войдешь, и не отрываются от газеты, ну разве что в знак особого уважения поерзают задницей. Абигейл рассказала, что при ее сообщении о том, что она выходит замуж за Джайлза Уилсона, они так и продолжали хмыкать, и всё.

Абигейл шикарно прикатывала на работу в собственном маленьком «остине». А я поползала из дому ежедневно в четверть восьмого и приплеталась обратно к половине девятого. Тем не менее жизнь моя вскачь понеслась к счастью на третью неделю после того, как я поступила в «Хайгейт ревю». Ховард Сенд меня попросил сунуть в номер

объявление о сдаче внаймы полуподвальной квартиры.

— То есть вы хотите сказать, — отозвалась я, — что у вас есть свободный полуподвал здесь, в этом самом доме?

Оказалось, что полуподвал свободен и он нам по карману.

— А я как раз ищу квартиру для нас с моим другом!

Я позвонила Уильяму, и он в тот же вечер примчался поглядеть на квартиру.

Там не очень темно, часть окон поднимается над уровнем улицы. Соседка у нас будет одна, миссис Томас, она убирает квартиру и покупает еду.

— Но она, — Ховард запнулся, — пользуется удобствами. — Под удобствами он разумел сортир вместе с ванной. В Англии просто катастрофа по части удобств. Так туго с удобствами.

Однако из-за того, что миссис Томас пользовалась удобствами, проистекало то обстоятельство, что три наших комнаты нам обходились исключительно дешево; а были у нас гостиная, спальня и кухня. Уильяму предстояла более утомительная дорога, да, но зато мне!.. Что ж, справедливо; от среднего к лучшему, все совпадало с моей теорией.

Уильям, кажется, на судьбу тоже не сетовал. Был всем доволен.

Мы отправились ужинать вместе с Фредом и Ховардом: спрыснуть сделку. Мальчики были в восторге, узнав, что Уильям без пяти минут дипломированный врач, и накинулись на него с жалобами на свои многочисленные хворобы. Уильям, не теряя времени, перевел разговор на музыку, изящно ссылаясь на статьи о музыке, которые прочитал недавно в «Хайгет ревю».

Милли прекрасно знала, по какой причине я съехала из Саут-Кенсингтона. Но притворялась, будто не знает. Милли вполне устраивало мое честное слово, что я буду ее навещать каждое воскресенье. Она говорила:

— Так и для твоего здоровья полезней, Нэнси. Часами трястись в метро, ну жуть. И что Уильям при тебе — тоже к лучшему. Ведь это кошмар, буквально, как эта Изобел сюда таскается, лезет к нему с вопросами насчет родов, допоздна у него просиживает, заниматься не дает.

Новая квартира Изобел была чуть в стороне от Кромвел-роуд. Последние две недели вечером, приходя домой, я заставляла ее у нас, она трещала, сидя у него на постели. Я знала, что, как правило, он ее вытуривает, потому что всю готовится к выпускным.

Но я кипятилась: ей же ни на секунду в голову не придет, что я теперь — часть его жизни, а сообрази она, как обстоит дело, ей все равно бы с высокой горы плевать. Она по-прежнему считала, говорила и вела себя так, как будто моя вечная роль — роль мамы; ах, да чья бы корова мычала. Лучше бы о *своем* материнстве подумала, чем зря болтать.

Одним из плюсов моей новой работы, красивших жизнь нам с Уильямом, были то и дело перепавшие нам билеты на разные музыкальные мероприятия весной пятидесят пятого года. Уильям написал несколько кратких заметок для «Хайгейт ревю» — на коленке, буквально, чтоб зря не терять время в дороге. Я молила Фреда Тучера, ведавшего музыкальным отделом, не принимать эти статейки только на том основании, что Уильям мой близкий друг, но Фред клялся и божился, что принимает их вовсе не на том основании, а за легкий и одновременно мастерский слог. Вообще-то Фред наговорил кучу приятных вещей про Уильяма, но, увы, говорил он так, как море шумит: рокот прилива, шелест отлива и — набегают могучий вал и смачно смывает смысл сказанного. Зато можно было не вникать, не вслушиваться в бульбулькивание его речи, а спокойно ждать мощного всплеска. В результате из

льстивых переливов этой эклоги я смогла передать Уильяму только то, что его музыкальные штудии отличает одновременно легкий и мастерский слог.

— Ну что же, рад, что Лапкам нравится, — Лапками Уильям именовал «мальчиков».

Если вы ранней весной тысяча девятьсот пятьдесят пятого года посещали концерты в Уигмор-холле, Фестивал-холле, Алберт-холле и в лондонских концертных залах поменьше, бывали в Королевской опере, вы там замечали пары и группки нечесаных и недоодетых юнцов (в шерстяных перчатках, закутанных шарфами по причине часто перепадавших утренников), выстаивавших длинные очереди за билетами подешевле. Так вот: мы с Уильямом толклись в их среде. Если нам не доставалось билетов в «Хайгейт ревю», мы их покупали. В Садлерс-Уэллсе шел «Дон Жуан»; оркестр Филармонии под управлением Клемперера исполнял Моцарта и Брукнера; в Конуэй-холле неизвестный струнный квартет исполнял Типпетта, Дворжака и Бетховена; в Садлерс-Уэллсе давали «Дафниса и Хлою»; еще помню дивный концерт для голоса с фортепиано в Совете искусств, хоть напрочь забыла исполнителей; и конечно, в Садлерс-Уэллсе шла «Травиата».

- Ты верующий, Уильям?
- Нет, не верю ни в Бога, ни в черта.
- А я не могу не верить.
- Вот и веруй себе на здоровье, причем за двоих, как едят беременные.

Я не сомневалась, что Уильям — моя любовь на всю жизнь. Он, со своей стороны, вел себя так, будто вопрос о нашем совместном будущем решен раз и навсегда и пересмотру не подлежит. И, оглядываясь назад, я понимаю, как мне важно было уже тогда ощутить под ногами твердую почву, которая с тех самых пор ни разу не поколебалась.

Наша любовь в полуподвале Хайгейта странным образом еще сильнее разгоралась от сопоставления со странной любовью чинных, всезнающих и благолепных «мальчиков». Иногда они к нам навевались — опрокинуть стопочку, а то и закусить, попутно выживая из Уильяма все о своих хворобах.

— Я, конечно, не дипломированный врач, — слабо сопротивлялся Уильям. — И практики у меня никакой.

Уильям был из очень бедной семьи. Не просто из бедноты, с ее гордостью, вымороочной чистотой и натужными выходами в церковь, Уильям был из самой что ни на есть нищей среды. Теперь он омыт, отполирован,

оправлен стипендиями и грантами, а его исключительный мозг помог ему с легкостью выбиться из трущоб. Естественно, что хорошие средние школы и колледжи тех дней вцепились в него и вооружили на будущее, чтобы затем, с помощью стипендий и грантов, он мог кочевать по иностранным университетам, мог выбрать специализацию по душе. Но в свои двадцать восемь он уже был образованный человек и, ксатати, с покладистым нравом. Больше всего меня умилило и тронуло, что он не знает детских стишков и понятия не имеет о сказках. Он прочел Достоевского, Пруста, читал по-гречески Аристотеля и Софокла. Читал Чосера, Спенсера. А уж что касается музыки! Он по косточкам разбирал Шостаковича, Бартока. Цитировал Шопенгауэра. Но он понятия не имел о том, кто такие Шалтай-Болтай, Три Медведя, Мальчик-с-Пальчик, Красная Шапочка и с чем их едят. С историей Золушки он познакомился исключительно благодаря опере Россини. И вся романтика нашего английского детства, вся его сласть растворилась в трущобном младенчестве, канула в вонючие стоки и, истоптанная уличными потаскухами, ростовщиками и крысами, затаилась в натужном кашле, затерялась в матерной брани, в лохмотьях, голых заоченелых ногах,

и никакой Прекрасный Принц к Уильяму не пришел на выручку, как иногда приходил к беднякам между Первой и Второй мировыми войнами. Прежде я не догадывалась о том, что у неимущих больших городов неизбежно отнимется и нехитрый детский фольклор. Ночью я пела Уильяму колыбельные. Рассказывала волшебные сказки. Иногда что-то чесалось у него в памяти, что-то такое он слышал — но, Бог ты мой, — где? когда? А в основном все это для него было внове. И еще больше скрепляло нашу любовь.

Чуяло мое сердце, что со дня на день Гектор Бартлет объявится в конторе «Хайгейта», если только можно эту цветочную, облачную розоватость назвать скучным словом «контора». Хоть располагались мы у черта на рогах, название нашего журнала у многих было уже на слуху, личность издателей притягательна, как магнит, и посетитель то и дело без предупреждения обрушивался на наши головы со статьей или стишками в зубах. Когда Фред и Ховард были заняты оба, мы с Абигейл их замещали, полчаса расспрашивая гостей за чашечкой кофе о том о сем. Иногда забредали авторы, знакомые мне по прежней работе, и я отодвигала рукопись в сторону, и мы беседовали на прежней волне,

тогда как Абигейл потела над горой переписки. Одна милая девушка повадилась к нам чуть ли не еженедельно, без конца переоблачаясь — представляя перед нами то молочницей, то гусаром. И хотя она нас не обременяла ни своими стихами, ни прозой, я ничуть не удивилась, когда, много лет спустя, она сочинила весьма успешную пьесу.

Кое-кто приходил поговорить о религии, о своем отступничестве в англиканство, обсудить тридцать девять статей*. Англиканство же, в свою очередь, бурлило тогда вокруг одного-единственного вопроса: стоит ли, нет ли «предаться Риму». Сама-то я ходила и в тот и в другой храм, просто-напросто как мне сподручней. Когда я в этом призналась верующим интеллектуалам «Хайгейта», следствием стали долгие, упоительные споры, впрочем едва ли имевшие отношение к христианской вере.

Так и весна прошла. Горою высились рукописи у меня на столе. Абигейл, как ни лезла из кожи вон, не могла одолеть переписки. По утрам я помогала ей разгребать почту. Письма, оказавшиеся не срочными, не

*Тридцать девять статей — документ, представляющий собой суммарное изложение веры англиканской церкви и принятый в 1563 г.

адресованными Фреду или Ховарду лично, на нее навели тоску — не потому, что она в ответ ничего из себя не могла выдать, просто их было чересчур много, и все. Фред сказал ей, что было бы «очень мило с ее стороны», если бы она отвечала на все письма подряд, какими бы безнадежно идиотскими они ей ни казались. Ну я и посоветовала Абигейл отвечать на эти письма ежеквартально. Да, кстати, мой совет всем, кто получает кучу ненужной корреспонденции: отвечайте так, как некоторые компании выплачивают дивиденды — ежеквартально. На письма, приуроченные к Рождеству, отвечайте на Благовещение, на отправленные к Сретенью отвечайте на Пасху, на полученные в последний квартал отвечайте на Крещение. А иначе тут сам черт ногу сломит.

Как-то утром среди почты оказалась рукопись с сопроводительным письмом Гектора Бартлета и с рекомендацией Эммы Лой.

— А-а, это от него, который пишет прозой, — угадала Абигейл.

— Оставь, я потом посмотрю.

Абигейл хотела присовокупить большущий вскрытый конверт с машинописью и письмом Эммы к стопке рукописей у меня на столе. Но, как будто этот конверт заразный, я взяла его из рук Абигейл и положила в сто-

ронке, отдельно. Я ненавидела Гектора Бартлета всей душой, тупой ненавистью без раздумий, хоть только путем раздумий и можно было понять и оправдать мои чувства.

Рекомендательное письмо Эммы Лой пришло из Нью-Йорка, в нем она благодарила Фреда Тучера за присланный номер «Хайгейт ревю», который тот ей послал, очевидно, с почти не скрываемым дальним прицелом: ее вдохновить и привлечь к сотрудничеству.

«Мне было очень интересно, особенно потому, что здесь вашего журнала днем с огнем не сыскать, — писала Эмма. — Обещаю, что, если будет у меня что-нибудь для вас подходящее, я вам немедленно вышлю».

Не ручаюсь, что запомнила письмо Эммы слово в слово — столько воды утекло с тех пор! — но продолжала она примерно в таком духе:

Пользуясь случаем, рекомендую вам эссе опытного эссеиста Гектора Бартлета, прилагаемое к моему письму. В эссе описывается эксперимент, связанный с применением радионики. Сама я не поклонница радионики, но мистер Бартлет, будучи убежденным ее ревнителем, описывает подлинный опыт, результаты которого трудно переоценить.

Гектор Бартлет, в некотором роде, такой Кьеркегор для бедных.

Эссе, возможно, нуждается во внимании редактора, но суть его, я думаю, достойна вашего рассмотрения.

Искренне ваша,

Эмма Лой

Теперь-то свое отношение к Эмме Лой в далеком тысяча девятьсот пятьдесят пятом году я задним числом рассматриваю сквозь призму позже накопленных сведений: как во все годы гремучей ее славы Гектор Бартлет к ней лип, приставал и лез, как надоедал непрошеными писаниями о ней, как раздражал пафосными похвалами, душещипательными откровениями и слезоточивым враньем. И когда она наконец от него избавилась, он буквально полез на стенку, с цепи сорвался. Правда, никого особенно не интересовало, что пишет и говорит Гектор Бартлет. И правильно Эмма сделала, что не стала на него подавать в суд, зря тратить время на адвокатов. «А зачем, ему же только того и надо. Чтоб на него обратили внимание», — объясняла она. Но она ошетикивалась, когда какой-нибудь студент в невинности сердца ссылался на Гектора Бартлета как на главного специалиста по жизни и творче-

ству Эммы Лой. Правда, она, по-моему, наконец догадалась, что сама виновата — зачем так настойчиво всюду совала и старалась умиловить агрессора. Ей тогда уже хотелось, по-видимому, от него отвертеться, но она надеялась, что достигнет своей цели малой кровью, если предварительно возвысит и приблизит его к себе. Ну не дичь? Ведь она наконец поняла ясней ясного, что он именно *Pisseur de sorie*, как я его характеризовала, и все.

Ну вот, а тогда рекомендательное письмо Эммы Лой меня просто взбесило. Сам же чудовищный десятистраничный текст, с литературной точки зрения невозможный, ничтожный по мысли, совершенно неподходящий для нашего разборчивого журнала, да что там — никакой-никакой — потряс меня до такой степени, что я весь день ни о чем другом и думать не могла. Кстати, и Абигейл изумлялась.

Название было: «Радионика, орудие против зла». Далее кратко излагалась история бокса и его многоцелебный эффект. Шло перечисление болезней, излеченных при помощи радионики. Результат излечения, считал Гекор Бартлет, зависит от восприимчивости и психологической одаренности оператора. Наибольших успехов, однако, опера-

тор достигает при тесном сотрудничестве с организатором. Далее повествовалось о том, как один организатор, зная некую скверную женщину, побудил от природы способного оператора средствами радионики подвергнуть помянутую злобную особу проклятью. Поскольку жертва проклятья была явная гадина, организатор справедливо счел благим делом побудить оператора, ревностную католичку, «со всем вдохновением веры» призвать проклятие на ее голову. В течение нескольких месяцев жертва воздействия радионики, изначально жирная до неприличия, стала худеть и чахнуть, и в конце концов ей пришлось даже бросить службу.

В продолжение эксперимента, далее разъяснялось в эссе, организатору пришлось втянуться «в то, что может быть поименовано сексуально-душевыми отношениями» с оператором. Зато эксперимент удался на славу. Но в данном случае оператор, утратив силу, опасаясь кары духовенства, боясь за свою репутацию в католических кругах, в конце концов лишилась рассудка и свела счеты с жизнью. Что нисколько не убавляет очевидного успеха эксперимента на протяжении тех месяцев, когда оператор всецело была под влиянием организатора. И на будущее при проведении экспериментов сле-

дует, видимо, рекомендовать операторов, не подверженных тлетворному влиянию массовой религии.

— Это он про Ванду Подолак, — догадалась Абигейл. — А кто та несчастная толстуха?

— Это я, — говорю.

— Что-то не припомню, чтобы ты была жирная до неприличия.

— Нет, я была, когда только-только поступила в «Макинтош и Тули». И вскоре стала худеть.

— Ах, ну да, теперь вспоминаю, — вздохнула Абигейл. — Но тогда мы не были так близко знакомы.

Она знала, как мало я ем, но не связывала этого с моими нынешними вполне приличными габаритами.

— Но если это про тебя, вот вопрос: с чего он взял, что ты гадина?

— А с того, что как-то утром в прошлом году он мне повстречался в парке и с ходу стал приставать, чтобы я что-то такое учинила ради его карьеры, вот я и выложила ему в лицо, что он — *Pisseur de copie*.

— Псих ненормальный, — скривилась Абигейл.

— Само собой, но Ванды-то нет в живых.

Вечером я прихватила письмо Эммы и так называемое эссе домой, показать Уильяму.

Уильям всегда сдержанно относился к этому моему неприятию Гектора Бартлета. Чувствовал, наверно, что тут уж чересчур много страсти. Наверно, хотел безраздельно владеть всеми моими сильными чувствами, мало ли. Недавно я посвятила его в свои подозрения насчет причастности Гектора к гибели Ванды. «Пойми, он всегда приходил, когда я на работе. Наверняка он с ней спал. Научил ее работать с этим дурацким боксом под его руководством, подначил использовать радионику против меня», — говорила я.

— Ох ты Господи, — отвечал Уильям. — Ну, пусть даже все это стопроцентная правда, все равно ты не докажешь, что он довел Ванду до самоубийства. Для подобных отношений требуются двое. Между угнетателем и угнетенным есть негласный договор. Что бы она ни сделала — она сделала по собственной воле.

Я не сдавалась. Ванда была под влиянием Гектора, как под наркозом, а когда она решилась соскочить, он ей показал сфабрикованные газетные вырезки и кое-какие непристойные фальшивые фотографии. И она не выдержала. Отчаянно вскрикнула и прыгнула в темную воду канала.

— А это еще требуется доказать, — упорствовал Уильям. Он был строг, но он и к себе был строг.

Тут я взяла эссе Гектора и показала его Уильяму.

— На вот, тут все как есть, почитай.

Начал он с письма Эммы Лой.

— ...Кьеркегор для бедных, ах, скажите, пожалуйста, — он хмыкнул. — Да на черта бедным Кьеркегор, им работа нужна.

— Ты лучше эссе прочти, — наседала я. — Так называемое эссе.

Но он отложил его в сторону:

— Потом-потом, миссис Хокинз, а сейчас я поведу вас ужинать. (Уильям до сих пор еще изредка называет меня «миссис Хокинз», когда, например, говорит: «Я только отчасти воспользовался вашим советом, миссис Хокинз».)

Когда мы вернулись, наверху дым стоял коромыслом. Уже не впервой с тех пор, как мы поселились в этом полуподвале, нам не давали спать повышенные голоса Фреда и Ховарда, при свете дня таких тихих, кротких, таких любезных со всеми и между собой. Миссис Томас, уборщица, выскочила из своей комнаты.

— Опять мальчишки взялись за свое, — она сказала. — Сегодня там прямо жуть. Может, нам подняться?

— Нет, зачем вмешиваться, — сказал Уильям.

— А они заниматься-то вам не мешают? — спросила миссис Томас, которой явно хотелось приткнуться к кому-нибудь, как во время войны люди льнули друг к другу под бомбами.

— Мне случалось заниматься в условиях и похуже, — Уильям твердой рукой прикрыл за собою дверь.

Возможно, из-за того, что гомосексуализм тогда еще был под запретом, геи в те поры были куда истеричнее, чем теперь. Однако сегодня они вопили громче обычного, и предметы с размаху шлепались об пол в гостиной и в конторе, над нашими головами. Там шла настоящая драка. Что-то крушилось, падало с тугим стуком, хрустел хрусталь.

— Может, попробуем их утихомирить? — мое предложение.

— В данный момент все без толку, — ответил Уильям, со своим уличным опытом. — Погоди, пусть они поутихнут. А потом можно войти и разораться самим.

— Или полицию вызвать?..

— Полиция и сама явится, если они не угомонятся.

Кто-то протопал по лестнице вниз, стал ломиться к нам в дверь. Это Фред, младший

партнер; прекрасное смуглое лицо у него все перемазано кровью.

— Доктора, доктора скорей. Ховард упал. Он повредил ногу.

Мы поднялись, с миссис Томас в фарватере. Ховард не повредил ногу, он сломал ребро, может, и не одно. Он лежал на ковре в конторе и стонал.

— Не волнуйся, — сказал Фред. — У нас есть свой домашний доктор.

— А кто это все разгребать будет, спрашивается? — интересовалась миссис Томас.

Мы вызвали «скорую», отправили Ховарда в больницу, заклеили пластырями лицо Фреду. В конторе черт-те что творилось, обрывки рукописей рассыпались по полу, чернила поправок расплывались в воде, пролитой из опрокинутых цветочных ваз. Пишущие машинки, вышвырнутые из окон, переломанные, валялись на улице. Никто ничего не спрашивал, никто не объяснял ничего.

Только неделю спустя можно было с грехом пополам снова расположиться в конторе. Очередной выпуск «Хайгейт ревю» на два месяца задержался. Мы с Абигейл кое-как привели в порядок наличествующие манускрипты и гранки, слезно оправдываясь перед теми авторами, адреса которых смогли

откопать, ссылаясь на несчастный случай, умоляя представить работу заново.

Но большинство бумаг было безвозвратно утрачено, взмокло, истоптано в клочья. За выходные мы вымели всю эту мокрую муть из конторы, выбросили к чертям собачьим. Уильям нам помогал.

— Вся штука в том, — помнится, говорила Абигейл, — что наши мальчики очаровательны. Когда голубые очаровательны, это подслащивает пиллюлю.

Ховард, выйдя из больницы, лежал у себя, над конторой, и Фред кротко тянул лямку за двоих, чаровал авторов, расставлял по вазам цветы. А мы с Уильямом оставались в полуподвале, пока не обвенчались под самое Рождество, и до того все было тихо-спокойно. «Вечная война за то, чтобы не было войн», — приговаривал Уильям.

Но в ту первую неделю, когда мы с Абигейл с помощью миссис Томас, плотников и стекольщиков приводили контору в порядок, разыскивали потерянные письма и рукописи, я в основном тщательно обшаривала собственное жилье. Письмо Эммы Лой и «эссе» Гектора Бартлета — как в воду канули.

— Я же все сюда сволокла, куда ты это подевал, а, Уильям? — в конце концов я при-

жала его к стенке, ведь куда-то он все это упрятал, верно?

— А я все отнес в контору, утром после борьбы за мир, куда-то сунул, среди обрывков. Куда их еще девать?

— Ну зачем?

— Здесь у нас для этой пакости нету места.

Я отправилась утешать Ховарда на ложе скорби, среди цветов.

— Ну вот, все улажено, — говорю, — только писем и рукописей не доискаться.

— Ничего, еще понанесут.

— Понимаешь, — говорю, — там было письмо от Эммы Лой. Своего она ничего не предлагает, но прислала эссе о радионике такого Гектора Бартлета. Оно пропало, но так даже лучше.

— А что это — радионика?

— В общем, вид колдовства, — говорю, — эссе, собственно говоря, дрянь. Ты слышал про Гектора Бартлета?

— Нет, а что? — он говорит.

— Он Pisseur de copie, — говорю.

— Ой, ну не смей ты меня, ради Бога, — сказал милый Ховард, хватаясь за свои несчастные ребра.

Несколько месяцев спустя, когда мы вплотную готовились к свадьбе, как-то ночью я долго лежала, глядя во тьму, а когда, отуманясь, проваливалась в сон, мне помстилось, что Ванда сошьет мне платье; так я и думала, пока не сообразила сквозь сон, что она умерла.

Больше тридцати лет спустя я снова увидела Гектора Бартлета. Дело было в Тоскане, в одном ресторанчике, сооруженном внутри восстановленного средневекового замка, славного тем, что однажды в нем ночевал Данте. Было около трех. Мы пообедали. Уильям обещал позвонить в Англию, там было теперь два часа. Мы часто ездим в Италию. Итальянские голоса нежной рифмой обрамляют все происшествия дня. Солнце пекло, горело, Феб, забавляясь, обливал красно-искристым вином и маслом «фиаты» и «альфы» друзей и знакомых, весело отъезжавших от ресторана. Уильям сказал:

— Расплатишься, да? А я пойду позвоню.

Я расплатилась, дождалась сдачи и двинулась к двери. Стойку обступило несколько человек, главным образом заезжие англичане. Кто-то сказал что-то невинное,

типа «прелесть какое место». Другой голос откликнулся: «Вы нигде не найдете такого множества бабочек и полевых цветов». Неразговорная пошлость фразы, явно почерпнутой из туристской брошюрки, заставила меня оглянуться. Тощий, серолицый, с остатним белым пухом на голове, это был — а сколько воды утекло! — это был, конечно и безусловно, он — Гектор Бартлет. Заметил мой шарящий взгляд, глянул в ответ, меня опознал. Рядом стояли то ли приятели, то ли просто спутники, не знаю. Он посмотрел на них, на меня и зашелся истерическим смехом.

— Pisseur de copie, — прошипела я.

Он отпрянул, стоявшим сзади пришлось расступиться, и, как стрекот пишущей машинки, долго еще стучал его смех.

Уильям ждал в машине.

— Расплатилась?

— Ага, — говорю.

Так аукнулся мне мой Кенсингтон, как давно это было.

Спарк М.

- С71 Кенсингтон, как давно это было: роман / Мюриэл Спарк; пер. с англ. Е. Суриц. — Москва: Текст, 2019. — 286[2] с.

ISBN 978-5-7516-1542-0

«Кенсингтон, как давно это было» — роман Мюриэл Спарк (1918–2006), признанного классика английской литературы XX века. Действие романа разворачивается в послевоенном Лондоне. Агнес Хокинз, молодая вдова погибшего на войне солдата, служит редактором в близком к финансовому краху издательстве и оказывается вовлеченной в драматические события: ее соседка по меблированным комнатам польская портниха Ванда получает анонимные письма с угрозами, подвергается шантажу и в конце концов погибает. Не причастен ли к ее гибели бездарный литератор Гектор Бартлет, пользующийся покровительством известной писательницы?..

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)

Мюриэл Спарк
КЕНСИНГТОН,
КАК ДАВНО ЭТО БЫЛО

Роман

16+

Редактор В. И. Генкин
Оформление серии Т. О. Семеновой
Корректор Т. В. Калинина
Художественный редактор К. Ш. Баласанова

Подписано в печать 20.08.19. Дата изготовления 03.09.19.
Формат 70 x 100/32. Усл. печ. л. 9,75. Тираж 3000 экз.
Заказ № К-7483.

Издательский дом «Текст»
125319 Москва, ул. Усиевича, д. 8
Тел.: +7 (499) 150 04 72
E-mail: textpubl@yandex.ru

По вопросам, связанным с приобретением
книг издательства, обращаться в ТФ «Лабиринт»:
тел. +7 (495) 780 00 98 www.labyrinth.org

Заказ книг в интернет-магазине: www.labyrinth.ru

Отпечатано в АО «ИПК «Чувашия»,
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 13

